

Антон Чехов

**Рассказы. Повести. 1892-
1894**



Полное собрание сочинений и писем

АНТОН ЧЕХОВ

Рассказы. Повести. 1892-1894

«Public Domain»

Чехов А. П.

Рассказы. Повести. 1892-1894 / А. П. Чехов — «Public Domain»,
— (Полное собрание сочинений и писем)

В восьмой том входят рассказы и повести Чехова 1892–1894 годов.

Содержание

Попрыгунья	5
I	5
II	7
III	10
IV	12
V	14
VI	17
VII	19
VIII	21
После театра	24
Отрывок	26
История одного торгового предприятия	27
Из записной книжки старого педагога	29
В ссылке	30
Рыбья любовь	35
Соседи	37
Палата № 6	47
I	47
II	49
III	50
IV	52
V	53
VI	55
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Антон Павлович Чехов

Рассказы. Повести. 1892–1894

Попрыгунья

I

На свадьбе у Ольги Ивановны были все ее друзья и добрые знакомые.

– Посмотрите на него: не и правда ли, в нем что-то есть? – говорила она своим друзьям, кивая на мужа и как бы желая объяснить, почему это она вышла за простого, очень обыкновенного и ничем не замечательного человека.

Ее муж, Осип Степаныч Дымов, был врачом и имел чин титулярного советника. Служил он в двух больницах: в одной сверхштатным ординатором, а в другой – прозектором. Ежедневно от 9 часов утра до полудня он принимал больных и занимался у себя в палате, а после полудня ехал на конке в другую больницу, где вскрывал умерших больных. Частная практика его была ничтожна, рублей на пятьсот в год. Вот и всё. Что еще можно про него сказать? А между тем Ольга Ивановна и ее друзья и добрые знакомые были не совсем обыкновенные люди. Каждый из них был чем-нибудь замечателен и немножко известен, имел уже имя и считался знаменитостью, или же хотя и не был еще знаменит, но зато подавал блестящие надежды. Артист из драматического театра, большой, давно признанный талант, изящный, умный и скромный человек и отличный чтец, учивший Ольгу Ивановну читать; певец из оперы, добродушный толстяк, со вздохом уверявший Ольгу Ивановну, что она губит себя: если бы она не ленилась и взяла себя в руки, то из нее вышла бы замечательная певица; затем несколько художников и во главе их жанрист, анималист и пейзажист Рябовский очень красивый белокурой молодой человек, лет 25, имевший успех на выставках и продавший свою последнюю картину за пятьсот рублей; он поправлял Ольге Ивановне ее этюды и говорил, что из нее, быть может, выйдет толк; затем виолончелист, у которого инструмент плакал и который откровенно сознавался, что из всех знакомых ему женщин умеет аккомпанировать одна только Ольга Ивановна; затем литератор, молодой, но уже известный, писавший повести, пьесы и рассказы. Еще кто? Ну, еще Василий Васильич, барин, помещик, дилетант-иллюстратор и виньетист, сильно чувствовавший старый русский стиль, былинку и эпос; на бумаге, на фарфоре и на закопченных тарелках он производил буквально чудеса. Среди этой артистической, свободной и избалованной судьбою компании, правда, деликатной и скромной, но вспоминавшей о существовании каких-то докторов только во время болезни и для которой имя Дымов звучало так же безразлично, как Сидоров или Тарасов, – среди этой компании Дымов казался чужим, лишним и маленьким, хотя был высок ростом и широк в плечах. Казалось, что на нем чужой фрак и что у него приказчицкая борода. Впрочем, если бы он был писателем или художником, то сказали бы, что своей бородкой он напоминает Зола.

Артист говорил Ольге Ивановне, что со своими льняными волосами и в венчальном наряде она очень похожа на стройное вишневое деревцо, когда весной оно сплошь бывает покрыто нежными белыми цветами.

– Нет, вы послушайте! – говорила ему Ольга Ивановна, хватая его за руку. – Как это могло вдруг случиться? Вы слушайте, слушайте... Надо вам сказать, что отец служил вместе с Дымовым в одной больнице. Когда бедняжка-отец заболел, то Дымов по целым дням и ночам дежурил около его постели. Столько самопожертвования! Слушайте, Рябовский... И вы, писатель, слушайте, это очень интересно. Подойдите поближе. Сколько самопожертвования, искреннего

участия! Я тоже не спала ночи и сидела около отца, и вдруг – здравствуйте, победила добра молодца! Мой Дымов врезался по самые уши. Право, судьба бывает так причудлива. Ну, после смерти отца он иногда бывал у меня, встречался на улице и в один прекрасный вечер вдруг – бац! сделал предложение... как снег на голову... Я всю ночь проплакала и сама влюбилась адски. И вот, как видите, стала супругой. Не правда ли, в нем есть что-то сильное, могучее, медвежье? Теперь его лицо обращено к нам в три четверти, плохо освещено, но когда он обернется, вы посмотрите на его лоб. Рябовский, что вы скажете об этом лбе? Дымов, мы о тебе говорим! – крикнула она мужу. – Иди сюда. Протяни свою честную руку Рябовскому... Вот так. Будьте друзьями.

Дымов, добродушно и наивно улыбаясь, протянул Рябовскому руку и сказал:

– Очень рад. Со мной кончил курс тоже некто Рябовский. Это не родственник ваш?

II

Ольге Ивановне было 22 года, Дымову 31. Зажили они после свадьбы превосходно. Ольга Ивановна в гостиной увешала все стены сплошь своими и чужими этюдами в рамах и без рам, а около рояля и мебели устроила красивую тесноту из китайских зонтов, мольбертов, разноцветных тряпочек, кинжалов, бюстиков, фотографий... В столовой она оклеила стены лубочными картинками, повесила лапти и серпы, поставила в углу косу и грабли, и получилась столовая и русском вкусе. В спальне она, чтобы похоже было на пещеру, задрапировала потолок и стены темным сукном, повесила над кроватями венецианский фонарь, а у дверей поставила фигуру с алебардой. И все находили, что у молодых супругов очень миленький уголок.

Ежедневно, вставши с постели часов в одиннадцать, Ольга Ивановна играла на рояли или же, если было солнце, писала что-нибудь масляными красками. Потом, в первом часу, она ехала к своей портнихе. Так как у нее и Дымова денег было очень немного, в обрез, то, чтобы часто появляться в новых платьях и поражать своими нарядами, ей и ее портнихе приходилось пускаться на хитрости. Очень часто из старого перекрашенного платья, из ничего не стоящих кусочков тюля, кружев, плюша и шелка выходили просто чудеса, нечто обворожительное, не платье, а мечта. От портнихи Ольга Ивановна обыкновенно ехала к какой-нибудь знакомой актрисе, чтобы узнать театральные новости и кстати похлопотать насчет билета к первому представлению новой пьесы или к бенефису. От актрисы нужно было ехать в мастерскую художника или на картинную выставку, потом к кому-нибудь из знаменитостей – приглашать к себе, или отдать визит, или просто поболтать. И везде ее встречали весело и дружелюбно и уверяли ее, что она хорошая, милая, редкая... Те, которых она называла знаменитыми и великими, принимали ее, как свою, как ровню, и пророчили ей в один голос, что при ее талантах, вкусе и уме, если она не разбросается, выйдет большой толк. Она пела, играла на рояли, писала красками, лепила, участвовала в любительских спектаклях, но всё это не как-нибудь, а с талантом; делала ли она фонарики для иллюминации, рядилась ли, завязывала ли кому галстук – всё у нее выходило необыкновенно художественно, грациозно и мило. Но ни в чем ее талантливость не сказывалась так ярко, как в ее умение быстро знакомиться и коротко сходить с знаменитыми людьми. Стоило кому-нибудь прославиться хоть немножко и заставить о себе говорить, как она уж знакомилась с ним, в тот же день дружилась и приглашала к себе. Всякое новое знакомство было для нее сушим праздником. Она боготворила знаменитых людей, гордилась ими и каждую ночь видела их во сне. Она жаждала их и никак не могла утолить своей жажды. Старые уходили и забывались, приходили на смену им новые, но и к этим она скоро привыкала или разочаровывалась в них и начинала жадно искать новых и новых великих людей, находила и опять искала. Для чего?

В пятом часу она обедала дома с мужем. Его простота, здравый смысл и добродушие приводили ее в умиление и восторг. Она то и дело вскакивала, порывисто обнимала его голову и осыпала ее поцелуями.

– Ты, Дымов, умный, благородный человек, – говорила она, – но у тебя есть один очень важный недостаток. Ты совсем не интересуешься искусством. Ты отрицаешь и музыку, и живопись.

– Я не понимаю их, – говорил он кротко. – Я всю жизнь занимался естественными науками и медициной, и мне некогда было интересоваться искусствами.

– Но ведь это ужасно, Дымов!

– Почему же? Твои знакомые не знают естественных наук и медицины, однако же ты не ставишь им этого в упрек. У каждого свое. Я не понимаю пейзажей и опер, но думаю так: если одни умные люди посвящают им всю свою жизнь, а другие умные люди платят за них громадные деньги, то, значит, они нужны. Я не понимаю, но не понимать не значит отрицать.

– Дай, я пожму твою честную руку!

После обеда Ольга Ивановна ехала к знакомым, потом в театр или на концерт и возвращалась домой после полуночи. Так каждый день.

По средам у нее бывали вечеринки. На этих вечеринках хозяйка и гости не играли в карты и не танцевали, а развлекали себя разными художествами. Актер из драматического театра читал, певец пел, художники рисовали в альбомы, которых у Ольги Ивановны было множество, виолончелист играл, и сама хозяйка тоже рисовала, лепила, пела и аккомпанировала. В промежутках между чтением, музыкой и пением говорили и спорили о литературе, театре и живописи. Дам не было, потому что Ольга Ивановна всех дам, кроме актрис и своей портнихи, считала скучными и пошлыми. Ни одна вечеринка не обходилась без того, чтобы хозяйка не вздрагивала при каждом звонке и не говорила с победным выражением лица: «Это он!», разумея под словом «он» какую-нибудь новую приглашенную знаменитость. Дымова в гостиную не было, и никто не вспоминал об его существовании. Но ровно в половине двенадцатого отворялась дверь, ведущая в столовую, показывался Дымов со своею добродушною кроткою улыбкой и говорил, потирая руки:

– Пожалуйста, господа, закусить.

Все шли в столовую и всякий раз видели на столе одно и то же: блюдо с устрицами, кусок ветчины или телятины, сардины, сыр, икру, грибы, водку и два графина с вином.

– Милый мой метр-д'отель! – говорила Ольга Ивановна, всплескивая руками от восторга. – Ты просто очарователен! Господа, посмотрите на его лоб! Дымов, повернись в профиль. Господа, посмотрите: лицо бенгальского тигра, а выражение доброе и милое, как у оленя. У, милый!

Гости ели и, глядя на Дымова, думали: «В самом деле, славный малый», но скоро забывали о нем и продолжали говорить о театре, музыке и живописи.

Молодые супруги были счастливы, и жизнь их текла как по маслу. Впрочем, третья неделя их медового месяца была проведена не совсем счастливо, даже печально. Дымов заразился в больнице рожей, пролежал в постели шесть дней и должен был остричь догола свои красивые черные волосы. Ольга Ивановна сидела около него и горько плакала, но, когда ему полегчало, она надела на его стриженую голову беленький платок и стала писать с него бедуина. И обоим было весело. Дня через три после того, как он, выздоровевши, стал опять ходить в больницы, с ним произошло новое недоразумение.

– Мне не везет, мама! – сказал он однажды за обедом. – Сегодня у меня было четыре вскрытия, и я себе сразу два пальца порезал. И только дома я это заметил.

Ольга Ивановна испугалась. Он улыбнулся и сказал, что это пустяки и что ему часто приходится во время вскрытий делать себе порезы на руках.

– Я увлекаюсь, мама, и становлюсь рассеянным.

Ольга Ивановна с тревогой ожидала трупного заражения и по ночам молилась богу, но всё обошлось благополучно. И опять потекла мирная счастливая жизнь без печалей и тревог. Настоящее было прекрасно, а на смену ему приближалась весна, уже улыбавшаяся издали и обещающая тысячу радостей. Счастью не будет конца! В апреле, в мае и в июне дача далеко за городом, прогулки, этюды, рыбная ловля, соловьи, а потом, с июля до самой осени, поездка художников на Волгу, и в этой поездке, как непрременный член сосьете, будет принимать участие и Ольга Ивановна. Она уже сшила себе два дорожных костюма из холстинки, купила на дорогу красок, кистей, холста и новую палитру. Почти каждый день к ней приходил Рябовский, чтобы посмотреть, какие она сделала успехи по живописи. Когда она показывала ему свою живопись, он засовывал руки глубоко в карманы, крепко сжимал губы, сопел и говорил:

– Так-с... Это облако у вас кричит: оно освещено не по-вечернему. Передний план как-то сжеван, и что-то, понимаете ли, не то... А избушка у вас подавилась чем-то и жалобно пищит... надо бы угол этот потемнее взять. А в общем недурственно... Хвалю.

И чем он непонятнее говорил, тем легче Ольга Ивановна его понимала.

III

На второй день Троицы после обеда Дымов купил закусок и конфет и поехал к жене на дачу. Он не виделся с нею уже две недели и сильно соскучился. Сидя в вагоне и потом отыскивая в большой роще свою дачу, он всё время чувствовал голод и утомление и мечтал о том, как он на свободе поужинает вместе с женой и потом завалится спать. И ему весело было смотреть на свой сверток, в котором были завернуты икра, сыр и белорыбица.

Когда он отыскал свою дачу и узнал ее, уже заходило солнце. Старуха-горничная сказала, что барыни нет дома и что, должно быть, оне скоро придут. На даче, очень неприглядной на вид, с низкими потолками, оклеенными писчею бумагой, и с неровными щелистыми полами, было только три комнаты. В одной стояла кровать, в другой на стульях и окнах валялись холсты, кисти, засаленная бумага и мужские пальто и шляпы, а в третьей Дымов застал трех каких-то незнакомых мужчин. Двое были брюнеты с бородами, и третий совсем бритый и толстый, по-видимому – актер. На столе кипел самовар.

– Что вам угодно? – спросил актер басом, нелюдимо оглядывая Дымова. – Вам Ольгу Ивановну нужно? Погодите, она сейчас придет.

Дымов сел и стал дожидаться. Один из брюнетов, сонно и вяло поглядывая на него, налил себе чаю и спросил:

– Может, чаю хотите?

Дымову хотелось и пить и есть, но, чтобы не портить себе аппетита, он отказался от чая. Скоро послышались шаги и знакомый смех; хлопнула дверь, и в комнату вбежала Ольга Ивановна в широкополой шляпе и с ящиком в руке, а вслед за нею с большим зонтом и со складным стулом вошел веселый, краснощекий Рябовский.

– Дымов! – вскрикнула Ольга Ивановна и вспыхнула от радости – Дымов! – повторила она, кладя ему на грудь голову и обе руки. – Это ты! Отчего ты так долго не приезжал? Отчего? Отчего?

– Когда же мне, мама? Я всегда занят, а когда бываю свободен, то всё случается так, что расписание поездов не подходит.

– Но как я рада тебя видеть! Ты мне всю, всю ночь снился, и я боялась, как бы ты не заболел. Ах, если б ты знал, как ты мил, как ты кстати приехал! Ты будешь моим спасителем. Ты один только можешь спасти меня! Завтра будет здесь преоригинальная свадьба, – продолжала она, смеясь и завязывая мужу галстук. – Женится молодой телеграфист на станции, некто Чикельдеев. Красивый молодой человек, ну, неглупый, и есть в лице, знаешь, что-то сильное, медвежье... Можно с него молодого варяга писать. Мы, все дачники, принимаем в нем участие и дали ему честное слово быть у него на свадьбе... Человек небогатый, одинокий, робкий, и, конечно, было бы грешно отказать ему в участии. Представь, после обедни венчанье, потом из церкви все пешком до квартиры невесты... понимаешь, роща, пение птиц, солнечные пятна на траве и все мы разноцветными пятнами на ярко-зеленом фоне – преоригинально, во вкусе французских экспрессионистов. Но, Дымов, в чем я пойду в церковь? – сказала Ольга Ивановна и сделала плачущее лицо. – У меня здесь ничего нет, буквально ничего! Ни платья, ни цветов, ни перчаток... Ты должен меня спасти. Если приехал, то, значит, сама судьба велит тебе спасти меня. Возьми, мой дорогой, ключи, поезжай домой и возьми там в гардеробе мое розовое платье. Ты его помнишь, оно висит первое... Потом в кладовой с правой стороны на полу ты увидишь две картонки. Как откроешь верхнюю, так там всё тюль, тюль, тюль и разные лоскутки, а под ними цветы. Цветы все вынь осторожно, постарайся, дуся, не помять, их потом я выберу... И перчатки купи.

– Хорошо, – сказал Дымов. – Я завтра поеду и пришлю.

– Когда же завтра? – спросила Ольга Ивановна и посмотрела на него с удивлением. – Когда же ты успеешь завтра? Завтра отходит первый поезд в 9 часов, а венчание в 11. Нет, голубчик, надо сегодня, обязательно сегодня! Если завтра тебе нельзя будет приехать, то пришли с рассыльным. Ну, иди же... Сейчас должен прийти пассажирский поезд. Не опоздай, дуся.

– Хорошо.

– Ах, как мне жаль тебя отпускать, – сказала Ольга Ивановна, и слезы навернулись у нее на глазах. – И зачем я, дура, дала слово телеграфисту?

Дымов быстро выпил стакан чаю, взял баранку и, кротко улыбаясь, пошел на станцию. А икру, сыр и белорыбицу съели два брюнета и толстый актер.

IV

В тихую лунную июльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубе волжского парохода и смотрела то на воду, то на красивые берега. Рядом с нею стоял Рябовский и говорил ей, что черные тени на воде – не тени, а сон, что в виду этой колдовской воды с фантастическим блеском, в виду бездонного неба и грустных, задумчивых берегов, говорящих о суете нашей жизни и о существовании чего-то высшего, вечного, блаженного, хорошо бы забыться, умереть, стать воспоминанием. Прошедшее пошло и не интересно, будущее ничтожно, а эта чудная, единственная в жизни ночь скоро кончится, сольется с вечностью – зачем же жить?

А Ольга Ивановна прислушивалась то к голосу Рябовского, то к тишине ночи и думала о том, что она бессмертна и никогда не умрет. Бирюзовый цвет воды, какого она раньше никогда не видала, небо, берега, черные тени и безотчетная радость, наполнявшая ее душу, говорили ей, что из нее выйдет великая художница и что где-то там за далью, за лунной ночью, в бесконечном пространстве ожидают ее успех, слава, любовь народа... Когда она, не мигая, долго смотрела вдаль, ей чудились толпы людей, огни, торжественные звуки музыки, крики восторга, сама она в белом платье и цветы, которые сыпались на нее со всех сторон. Думала она также о том, что рядом с нею, облокотившись о борт, стоит настоящий великий человек, гений, божий избранник... Всё, что он создал до сих пор, прекрасно, ново и необыкновенно, а то, что создаст он со временем, когда с возмужалостью окрепнет его редкий талант, будет поразительно, неизмеримо высоко, и это видно по его лицу, по манере выражаться и по его отношению к природе. О тенях, вечерних тонах, о лунном блеске он говорит как-то особенно, своим языком, так что невольно чувствуется обаяние его власти над природой. Сам он очень красив, оригинален, и жизнь его, независимая, свободная, чуждая всего житейского, похожа на жизнь птицы.

– Становится свежо, – сказала Ольга Ивановна и вздрогнула.

Рябовский окутал ее в свой плащ и сказал печально:

– Я чувствую себя в вашей власти. Я раб. Зачем вы сегодня так оборотисты?

Он всё время глядел на нее, не отрываясь, и глаза его были страшны, и она боялась взглянуть на него.

– Я безумно люблю вас... – шептал он, дыша ей на щеку. – Скажите мне одно слово, и я не буду жить, брошу искусство... – бормотал он в сильном волнении. – Любите меня, любите...

– Не говорите так, – сказала Ольга Ивановна, закрывая глаза. – Это страшно. А Дымов?

– Что Дымов? Почему Дымов? Какое мне дело до Дымова? Волга, луна, красота, моя любовь, мой восторг, а никакого нет Дымова... Ах, я ничего не знаю... Не нужно мне прошлого, мне дайте одно мгновение... один миг!

У Ольги Ивановны забилось сердце. Она хотела думать о муже, но всё ее прошлое со свадьбой, с Дымовым и с вечеринками казалось ей маленьким, ничтожным, тусклым, ненужным и далеким-далеким... В самом деле: что Дымов? почему Дымов? какое ей дело до Дымова? Да существует ли он в природе и не сон ли он только?

«Для него, простого и обыкновенного человека, достаточно и того счастья, которое он уже получил, – думала она, закрывая лицо руками. – Пусть осуждают там, проклинаят, а я вот на зло всем возьму и погибну, возьму вот и погибну... Надо испытать всё в жизни. Боже, как жутко и как хорошо!»

– Ну что? Что? – бормотал художник, обнимая ее и жадно целуя руки, которыми она слабо пыталась отстранить его от себя. – Ты меня любишь? Да? Да? О, какая ночь! Чудная ночь!

– Да, какая ночь! – прошептала она, глядя ему в глаза, блестящие от слез, потом быстро оглянулась, обняла его и крепко поцеловала в губы.

– К Кинешме подходим! – сказал кто-то на другой стороне палубы.

Послышались тяжелые шаги. Это проходил мимо человек из буфета.

– Послушайте, – сказала ему Ольга Ивановна, смеясь и плача от счастья, – принесите нам вина.

Художник, бледный от волнения, сел на скамью, посмотрел на Ольгу Ивановну обожающими, благодарными глазами, потом закрыл глаза и сказал, томно улыбаясь:

– Я устал.

И прислонился головою к борту.

V

Второго сентября день был теплый и тихий, но пасмурный. Рано утром на Волге бродил легкий туман, а после девяти часов стал накрапывать дождь. И не было никакой надежды, что небо прояснится. За чаем Рябовский говорил Ольге Ивановне, что живопись – самое неблагодарное и самое скучное искусство, что он не художник, что одни только дураки думают, что у него есть талант, и вдруг, ни с того, ни с сего, схватил нож и поцарапал им свой самый лучший этюд. После чая он, мрачный, сидел у окна и смотрел на Волгу. А Волга уже была без блеска, тусклая, матовая, холодная на вид. Всё, всё напоминало о приближении тоскливой, хмурой осени. И казалось, что роскошные зеленые ковры на берегах, алмазные отражения лучей, прозрачную синюю даль и всё щегольское и парадное природа сняла теперь с Волги и уложила в сундуки до будущей весны, и вороны летали около Волги и дразнили ее: «Голая! голая!» Рябовский слушал их карканье и думал о том, что он уже выдохся и потерял талант, что всё на этом свете условно, относительно и глупо и что не следовало бы связывать себя с этой женщиной... Одним словом, он был не в духе и хандрил.

Ольга Ивановна сидела за перегородкой на кровати и, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, воображала себя то в гостиной, то в спальне, то в кабинете мужа; воображение уносило ее в театр, к портнихе и к знаменитым друзьям. Что-то они подельывают теперь? Вспоминают ли о ней? Сезон уже начался, и пора бы подумать о вечеринках. А Дымов?

Милый Дымов! Как кротко и детски-жалобно он просит ее в своих письмах поскорее ехать домой! Каждый месяц он высылал ей по 75 рублей, а когда она написала ему, что задолжала художникам сто рублей, то он прислал ей и эти сто. Какой добрый, великодушный человек! Путешествие утомило Ольгу Ивановну, она скучала, и ей хотелось поскорее уйти от этих мужиков, от запаха речной сырости и сбросить с себя это чувство физической нечистоты, которое она испытывала все время, живя в крестьянских избах и кочуя из села в село. Если бы Рябовский не дал честного слова художникам, что он проживет с ними здесь до 20 сентября, то можно было бы уехать сегодня же. И как бы это было хорошо!

– Боже мой, – простонал Рябовский, – когда же наконец будет солнце? Не могу же я солнечный пейзаж продолжать без солнца!..

– А у тебя есть этюд при облачном небе, – сказала Ольга Ивановна, выходя из-за перегородки. – Помнишь, на правом плане лес, а на левом – стадо коров и гуси. Теперь ты мог бы его кончить.

– Э! – поморщился художник. – Кончить! Неужели вы думаете, что сам я так глуп, что не знаю, что мне нужно делать!

– Как ты ко мне переменялся! – вздохнула Ольга Ивановна.

– Ну, и прекрасно.

У Ольги Ивановны задрожало лицо, она отошла к печке и заплакала.

– Да, недоставало только слез. Перестаньте! У меня тысячи причин плакать, однако же я не плачу.

– Тысячи причин! – всхлипнула Ольга Ивановна. – Самая главная причина, что вы уже тяготитесь мной. Да! – сказала она и зарыдала. – Если говорить правду, то вы стыдитесь нашей любви. Вы всё стараетесь, чтобы художники не заметили, хотя этого скрыть нельзя, и им всё давно уже известно.

– Ольга, я об одном прошу вас, – сказал художник умоляюще и приложив руку к сердцу, – об одном: не мучьте меня! Больше мне от вас ничего не нужно!

– Но поклянитесь, что вы меня всё еще любите!

– Это мучительно! – процедил сквозь зубы художник и вскочил. – Кончится тем, что я брошусь в Волгу или сойду с ума! Оставьте меня!

– Ну, убейте, убейте меня! – крикнула Ольга Ивановна. – Убейте!

Она опять зарыдала и пошла за перегородку. На соломенной крыше избы зашуршал дождь. Рябовский схватил себя за голову и прошелся из угла в угол, потом с решительным лицом, как будто желая что-то кому-то доказать, надел фуражку, перекинул через плечо ружье и вышел из избы.

По уходе его, Ольга Ивановна долго лежала на кровати и плакала. Сначала она думала о том, что хорошо бы отравиться, чтобы вернувшийся Рябовский застал ее мертвою, потом же она унеслась мыслями в гостиную, в кабинет мужа и вообразила, как она сидит неподвижно рядом с Дымовым и наслаждается физическим покоем и чистотой и как вечером сидит в театре и слушает Мазини. И тоска по цивилизации, по городскому шуму и известным людям защемила ее сердце. В избу вошла баба и стала не спеша топить печь, чтобы готовить обед. Запахло гарью, и воздух посинел от дыма. Приходили художники в высоких грязных сапогах и с мокрыми от дождя лицами, рассматривали этюды и говорили себе в утешение, что Волга даже и в дурную погоду имеет свою прелесть. А дешевые часы на стенке: тик-тик-тик... Озябшие мухи столпились в переднем углу около образов и жужжат, и слышно, как под лавками в толстых папках возятся прусаки...

Рябовский вернулся домой, когда заходило солнце. Он бросил на стол фуражку и, бледный, замученный, в грязных сапогах, опустился на лавку и закрыл глаза.

– Я устал... – сказал он и задвигал бровями, силясь поднять веки.

Чтобы приласкаться к нему и показать, что она не сердится, Ольга Ивановна подошла к нему, молча поцеловала и провела гребенкой по его белокурым волосам. Ей захотелось причесать его.

– Что такое? – спросил он, вздрогнув, точно к нему прикоснулись чем-то холодным, и открыл глаза. – Что такое? Оставьте меня в покое, прошу вас.

Он отстранил ее руками и отошел, и ей показалось, что лицо его выражало отвращение и досаду. В это время баба осторожно несла ему в обеих руках тарелку со щами, и Ольга Ивановна видела, как она обмочила во щам свои большие пальцы. И грязная баба с перетянутым животом, и щи, которые стал жадно есть Рябовский, и изба, и вся эта жизнь, которую вначале она так любила за простоту и художественный беспорядок, показались ей теперь ужасными. Она вдруг почувствовала себя оскорбленной и сказала холодно:

– Нам нужно расстаться на некоторое время, а то от скуки мы можем серьезно поссориться. Мне это надоело. Сегодня я уеду.

– На чем? На палочке верхом?

– Сегодня четверг, значит, в половине десятого придет пароход.

– А? Да, да... Ну что ж, поезжай... – сказал мягко Рябовский, утираясь вместо салфетки полотенцем. – Тебе здесь скучно и делать нечего, и надо быть большим эгоистом, чтобы удерживать тебя. Поезжай, а после двадцатого увидимся.

Ольга Ивановна укладывалась весело, и даже щеки у нее разгорелись от удовольствия. Неужели это правда, – спрашивала она себя, – что скоро она будет писать в гостиную, а спать в спальне и обедать со скатертью? У нее отлегло от сердца, и она уже не сердилась на художника.

– Краски и кисти я оставлю тебе, Рябуша, – говорила она. – Что останется, привезешь... Смотри же, без меня тут не ленись, не хандри, а работай. Ты у меня молодчина, Рябуша.

В девять часов Рябовский, на прощанье, поцеловал ее для того, как она думала, чтобы не целовать, на пароходе при художниках, и проводил на пристань. Подошел скоро пароход и увез ее.

Приехала она домой через двое с половиной суток. Не снимая шляпы и ватерпруфа, тяжело дыша от волнения, она прошла в гостиную, а оттуда в столовую. Дымов без сюртука, в расстегнутой жилетке сидел за столом и точил нож о вилку; перед ним на тарелке лежал рябчик. Когда Ольга Ивановна входила в квартиру, она была убеждена, что необходимо скрыть

всё от мужа и что на это хватит у нее умения и силы, но теперь, когда она увидела широкую, кроткую, счастливую улыбку и блестящие радостные глаза, она почувствовала, что скрывать от этого человека так же подло, отвратительно и так же невозможно и не под силу ей, как оклеветать, украсть или убить, и она в одно мгновение решила рассказать ему всё, что было. Давши ему поцеловать себя и обнять, она опустилась перед ним на колени и закрыла лицо.

– Что? Что, мама? – спросил он нежно. – Соскучилась?

Она подняла лицо, красное от стыда, и поглядела на него виновато и умоляюще, но страх и стыд помешали ей говорить правду.

– Ничего... – сказала она. – Это я так...

– Сядем, – сказал он, поднимая ее и усаживая за стол. – Вот так... Кушай рябчика. Ты проголодалась, бедняжка.

Она жадно вдыхала в себя родной воздух и ела рябчика, а он с умилением глядел на нее и радостно смеялся.

VI

По-видимому, с середины зимы Дымов стал догадываться, что его обманывают. Он, как будто у него была совесть нечиста, не мог уже смотреть жене прямо в глаза, не улыбался радостно при встрече с нею и, чтобы меньше оставаться с нею наедине, часто приводил к себе обедать своего товарища Коростелева, маленького стриженного человечка с помятым лицом, который, когда разговаривал с Ольгой Ивановной, то от смущения расстегивал все пуговицы своего пиджака и опять их застегивал и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус. За обедом оба доктора говорили о том, что при высоком стоянии диафрагмы иногда бывают перебои сердца, или что множественные невриты в последнее время наблюдаются очень часто, или что вчера Дымов, вскрывши труп с диагностикой «злокачественная анемия», нашел рак поджелудочной железы. И казалось, что оба они вели медицинский разговор только для того, чтобы дать Ольге Ивановне возможность молчать, т. е. не лгать. После обеда Коростелев садился за рояль, а Дымов вздыхал и говорил ему:

– Эх, брат! Ну, да что! Сыграй-ка что-нибудь печальное.

Подняв плечи и широко расставив пальцы, Коростелев брал несколько аккордов и начинал петь тенором «Укажи мне такую обитель, где бы русский мужик не стонал», а Дымов еще раз вздыхал, подпирал голову кулаком и задумывался.

В последнее время Ольга Ивановна вела себя крайне неосторожно. Каждое утро она просыпалась в самом дурном настроении и с мыслью, что она Рябовского уже не любит и что, слава богу, всё уже кончено. Но, напившись кофе, она соображала, что Рябовский отнял у нее мужа и что теперь она осталась без мужа и без Рябовского; потом она вспоминала разговоры своих знакомых о том, что Рябовский готовит к выставке нечто поразительное, смесь пейзажа с жанром, во вкусе Поленова, отчего все, кто бывает в его мастерской, приходят в восторг; но ведь это, думала она, он создал под ее влиянием и вообще, благодаря ее влиянию, он сильно изменился к лучшему. Влияние ее так благотворно и существенно, что если она оставит его, то он, пожалуй, может погибнуть. И вспоминала она также, что в последний раз он приходил к ней в каком-то сером сюртучке с искрами и в новом галстуке и спрашивал томно: «Я красив?» И в самом деле, он, изящный, со своими длинными кудрями и с голубыми глазами, был очень красив (или, быть может, так показалось) и был ласков с ней.

Вспомнив про многое и сообразив, Ольга Ивановна одевалась и в сильном волнении ехала в мастерскую к Рябовскому. Она заставляла его веселым и восхищенным своею, в самом деле, великолепною картиной; он прыгал, дурачился и на серьезные вопросы отвечал шутками. Ольга Ивановна ревновала Рябовского к картине и ненавидела ее, но из вежливости простаивала перед картиной молча минут пять и, вздохнув, как вздыхают перед святыней, говорила тихо:

– Да, ты никогда не писал еще ничего подобного. Знаешь, даже страшно.

Потом она начинала умолять его, чтобы он любил ее, не бросал, чтобы пожалел ее, бедную и несчастную. Она плакала, целовала ему руки, требовала, чтобы он клялся ей в любви, доказывала ему, что без ее хорошего влияния он собьется с пути и погибнет. И, испортив ему хорошее настроение духа и чувствуя себя униженной, она уезжала к портнихе или к знакомой актрисе похлопотать насчет билета.

Если она не заставляла его в мастерской, то оставляла ему письмо, в котором клялась, что если он сегодня не придет к ней, то она непременно отравится. Он трусил, приходил к ней и оставался обедать. Не стесняясь присутствием мужа, он говорил ей дерзости, она отвечала ему тем же. Оба чувствовали, что они связывают друг друга, что они деспоты и враги, и злились, и от злости не замечали, что оба они неприличны и что даже стриженный Коростелев понимает всё. После обеда Рябовский спешил проститься и уйти.

– Куда вы идете? – спрашивала его Ольга Ивановна в передней, глядя на него с ненавистью.

Он, морщась и щуря глаза, называл какую-нибудь даму, общую знакомую, и было видно, что это он смеется над ее ревностью и хочет досадить ей. Она шла к себе в спальню и ложилась в постель; от ревности, досады, чувства унижения и стыда она кусала подушку и начинала громко рыдать. Дымов оставлял Коростелева в гостиной, шел в спальню и, сконфуженный, растерянный, говорил тихо:

– Не плачь громко, мама... Зачем? Надо молчать об этом... Надо не подавать вида... Знаешь, что случилось, того уже не поправишь.

Не зная, как усмирить в себе тяжелую ревность, от которой даже в висках ломило, и думая, что еще можно поправить дело, она умывалась, пудрила заплаканное лицо и летела к знакомой даме. Не застав у нее Рябовского, она ехала к другой, потом к третьей... Сначала ей было стыдно так ездить, но потом она привыкла, и случалось, что в один вечер она объезжала всех знакомых женщин, чтобы отыскать Рябовского, и все понимали это.

Однажды она сказала Рябовскому про мужа:

– Этот человек гнетет меня своим великодушием!

Эта фраза ей так понравилась, что, встречаясь с художниками, которые знали об ее романе с Рябовским, она всякий раз говорила про мужа, делая энергический жест рукой:

– Этот человек гнетет меня своим великодушием!

Порядок жизни был такой же, как в прошлом году. По средам бывали вечеринки. Артист читал, художники рисовали, виолончелист играл, певец пел, и неизменно в половине двенадцатого открывалась дверь, ведущая в столовую, и Дымов, улыбаясь, говорил:

– Пожалуйте, господа, закусить.

По-прежнему Ольга Ивановна искала великих людей, находила и не удовлетворялась и опять искала. По-прежнему она каждый день возвращалась поздно ночью, но Дымов уже не спал, как в прошлом году, а сидел у себя в кабинете и что-то работал. Ложился он часа в три, а вставал в восемь.

Однажды вечером, когда она, собираясь в театр, стояла перед трюмо, в спальню вошел Дымов во фраке и в белом галстуке. Он кротко улыбался и, как прежде, радостно смотрел жене прямо в глаза. Лицо его сияло.

– Я сейчас диссертацию защищал, – сказал он, садясь и поглаживая колена.

– Защитил? – спросила Ольга Ивановна.

– Ого! – засмеялся он и вытянул шею, чтобы увидеть в зеркале лицо жены, которая продолжала стоять к нему спиной и поправлять прическу. – Ого! – повторил он. – Знаешь, очень возможно, что мне предложат приват-доцентуру по общей патологии. Этим пахнет.

Видно было по его блаженному, сияющему лицу, что если бы Ольга Ивановна поделила с ним его радость и торжество, то он простил бы ей всё, и настоящее и будущее, и всё бы забыл, но она не понимала, что значит приват-доцентура и общая патология, к тому же боялась опоздать в театр и ничего не сказала.

Он посидел две минуты, виновато улыбнулся и вышел.

VII

Это был беспокойнейший день.

У Дымова сильно болела голова; он утром не пил чаю, не пошел в больницу и всё время лежал у себя в кабинете на турецком диване. Ольга Ивановна, по обыкновению, в первом часу отправилась к Рябовскому, чтобы показать ему свой этюд *nature morte* и спросить его, почему он вчера не приходил. Этюд казался ей ничтожным, и написала она его только затем, чтобы иметь лишний предлог сходить к художнику.

Она вошла к нему без звонка, и когда в передней снимала калоши, ей послышалось, как будто в мастерской что-то тихо пробежало, по-женски шурша платьем, и когда она поспешила заглянуть в мастерскую, то увидела только кусок коричневой юбки, который мелькнул на мгновение и исчез за большою картиной, занавешенной вместе с мольбертом до пола черным коленкором. Сомневаться нельзя было, это пряталась женщина. Как часто сама Ольга Ивановна находила себе убежище за этой картиной! Рябовский, по-видимому, очень смущенный, как бы удивился ее приходу, протянул к ней обе руки и сказал, натянуто улыбаясь:

– А-а-а! Очень рад вас видеть. Что скажете хорошенького?

Глаза у Ольги Ивановны наполнились слезами. Ей было стыдно, горько, и она за миллион не согласилась бы говорить в присутствии посторонней женщины, соперницы, лгуньи, которая стояла теперь за картиной и, вероятно, злорадно хихикала.

– Я принесла вам этюд... – сказала она робко, тонким голоском, и губы ее задрожали, – *nature morte*.

– А-а-а... этюд?

Художник взял в руки этюд и, рассматривая его, как бы машинально прошел в другую комнату. Ольга Ивановна покорно шла за ним.

– *Nature morte*... первый сорт, – бормотал он, подбирая рифму, – курорт... чёрт... порт...

Из мастерской послышались торопливые шаги и шуршанье платья. Значит, она ушла. Ольге Ивановне хотелось громко крикнуть, ударить художника по голове чем-нибудь тяжелым и уйти, но она ничего не видела сквозь слезы, была подавлена своим стыдом и чувствовала себя уж не Ольгой Ивановной и не художницей, а маленькою козявкой.

– Я устал... – томно проговорил художник, глядя на этюд и встряхивая головой, чтобы побороть дремоту. – Это мило, конечно, но и сегодня этюд, и в прошлом году этюд, и через месяц будет этюд... Как вам не наскучит? Я бы на вашем месте бросил живопись и занялся серьезно музыкой или чем-нибудь. Ведь вы не художница, а музыкантша. Однако, знаете, как я устал! Я сейчас скажу, чтоб дали чаю... А?

Он вышел из комнаты, и Ольга Ивановна слышала, как он что-то приказывал своему лакею. Чтоб не прощаться, не объясняться, а главное не зарыдать, она, пока не вернулся Рябовский, поскорее побежала в переднюю, надела калоши и вышла на улицу. Тут она легко вздохнула и почувствовала себя навсегда свободной и от Рябовского, и от живописи, и от тяжелого стыда, который так давил ее в мастерской. Всё кончено!

Она поехала к портнихе, потом к Барнаю, который только вчера приехал, от Барная – в нотный магазин, и всё время она думала о том, как она напишет Рябовскому холодное, жесткое, полное собственного достоинства письмо и как весною или летом она поедет с Дымовым в Крым, освободится там окончательно от прошлого и начнет новую жизнь.

Вернувшись домой поздно вечером, она, не переодеваясь, села в гостиной сочинять письмо. Рябовский сказал ей, что она не художница, и она в отместку напишет ему теперь, что он каждый год пишет всё одно и то же и каждый день говорит одно и то же, что он застыл и что из него не выйдет ничего, кроме того, что уже вышло. Ей хотелось написать также, что он многим обязан ее хорошему влиянию, а если он поступает дурно, то это только потому,

что ее влияние парализуется разными двусмысленными особами, вроде той, которая сегодня пряталась за картину.

– Мама! – позвал из кабинета Дымов, не отворяя двери. – Мама!

– Что тебе?

– Мама, ты не входи ко мне, а только подойди к двери. – Вот что... Третьего дня я заразился в больнице дифтеритом, и теперь... мне нехорошо. Пошли поскорее за Коростелевым.

Ольга Ивановна всегда звала мужа, как всех знакомых мужчин, не по имени, а по фамилии; его имя Осип не нравилось ей, потому что напоминало гоголевского Осипа и каламбур: «Осип охрип, а Архип осип». Теперь же она вскрикнула:

– Осип, это не может быть!

– Пошли! Мне нехорошо... – сказал за дверью Дымов, и слышно было, как он подошел к дивану и лег. – Пошли! – глухо послышался его голос.

«Что же это такое? – подумала Ольга Ивановна, холодея от ужаса. – Ведь это опасно!»

Без всякой надобности она взяла свечу и пошла к себе в спальню, и тут, соображая, что ей нужно делать, нечаянно поглядела на себя в трюмо. С бледным, испуганным лицом, в жакете с высокими рукавами, с желтыми воланами на груди и с необыкновенным направлением полос на юбке, она показалась себе страшной и гадкой. Ей вдруг стало до боли жаль Дымова, его безграничной любви к ней, его молодой жизни и даже этой его осиротелой постели, на которой он давно уже не спал, и вспоминалась ей его обычная, кроткая, покорная улыбка. Она горько заплакала и написала Коростелеву умоляющее письмо. Было два часа ночи.

VIII

Когда в восьмом часу утра Ольга Ивановна, с тяжелой от бессонницы головой, непричесанная, некрасивая и с виноватым выражением, вышла из спальни, мимо нее прошел в переднюю какой-то господин с черною бородой, по-видимому, доктор. Пахло лекарствами. Около двери в кабинет стоял Коростелев и правой рукой крутил левый ус.

– К нему, извините, я вас не пушу, – угрюмо сказал он Ольге Ивановне. – Заразиться можно. Да и не к чему вам, в сущности. Он всё равно в бреду.

– У него настоящий дифтерит? – спросила шёпотом Ольга Ивановна.

– Тех, кто на рожон лезет, по-настоящему под суд отдавать надо, – пробормотал Коростелев, не отвечая на вопрос Ольги Ивановны. – Знаете, отчего он заразился? Во вторник у мальчика высасывал через трубочку дифтеритные пленки. А к чему? Глупо... Так, сдуру...

– Опасно? Очень? – спросила Ольга Ивановна.

– Да, говорят, что форма тяжелая. Надо бы за Шреком послать, в сущности.

Приходил маленький, рыженький, с длинным носом и с еврейским акцентом, потом высокий, сутулый, лохматый, похожий на протодьякона, потом молодой, очень полный, с красным лицом и в очках. Это врачи приходили дежурить около своего товарища. Коростелев, отдежурив свое время, не уходил домой, а оставался и, как тень, бродил по всем комнатам. Горничная подавала дежурившим докторам чай и часто бегала в аптеку, и некому было убрать комнат. Было тихо и уныло.

Ольга Ивановна сидела у себя в спальне и думала о том, что это бог ее наказывает за то, что она обманывала мужа. Молчаливое, безропотное, непонятное существо, обезличенное своею кротостью, бесхарактерное, слабое от излишней доброты, глухо страдало где-то там у себя на диване и не жаловалось. А если бы оно пожаловалось, хотя бы в бреду, то дежурные доктора узнали бы, что виноват тут не один только дифтерит. Спросили бы они Коростелева: он знает всё и недаром на жену своего друга смотрит такими глазами, как будто она-то и есть самая главная, настоящая злодейка, а дифтерит только ее сообщник. Она уже не помнила ни лунного вечера на Волге, ни объяснений в любви, ни поэтической жизни в избе, а помнила только, что она из пустой прихоти, из баловства, вся, с руками и с ногами, вымазалась во что-то грязное, липкое, от чего никогда уж не отмоешься...

«Ах, как я страшно солгала! – думала она, вспоминая о беспокойной любви, какая у нее была с Рябовским. – Будь оно всё проклято!..»

В четыре часа она обедала вместе с Коростелевым. Он ничего не ел, пил только красное вино и хмурился. Она тоже ничего не ела. То она мысленно молилась и давала обет богу, что если Дымов выздоровеет, то она полюбит его опять и будет верною женой. То, забывшись на минуту, она смотрела на Коростелева и думала: «Неужели не скучно быть простым, ничем не замечательным, неизвестным человеком, да еще с таким помятым лицом и с дурными манерами?» То ей казалось, что ее сию минуту убьет бог за то, что она, боясь заразиться, ни разу еще не была в кабинете у мужа. А в общем было тупое унылое чувство и уверенность, что жизнь уже испорчена и что ничем ее не исправишь...

После обеда наступили потемки. Когда Ольга Ивановна вышла в гостиную, Коростелев спал на кушетке, подложив под голову шелковую подушку, шитую золотом. «Кхи-пуа... – храпел он, – кхи-пуа».

И доктора, приходившие дежурить и уходившие, не замечали этого беспорядка. То, что чужой человек спал в гостиной и храпел, и этюды на стенах, и причудливая обстановка, и то, что хозяйка была непричесана и неряшливо одета – всё это не возбуждало теперь ни малейшего интереса. Один из докторов нечаянно чему-то засмеялся, и как-то странно и робко прозвучал этот смех, даже жутко сделалось.

Когда Ольга Ивановна в другой раз вышла в гостиную, Коростелев уже не спал, а сидел и курил.

– У него дифтерит носовой полости, – сказал он вполголоса. – Уже и сердце неважно работает. В сущности, плохи дела.

– А вы пошлите за Шреком, – сказала Ольга Ивановна.

– Был уже. Он-то и заметил, что дифтерит перешел в нос. Э, да что Шрек! В сущности, ничего Шрек. Он Шрек, я Коростелев – и больше ничего.

Время тянулось ужасно долго. Ольга Ивановна лежала одетая в неубранной с утра постели и дремала. Ей чудилось, что вся квартира от полу до потолка занята громадным куском железа и что стоит только вынести вон железо, как всем станет весело и легко. Очнувшись, она вспомнила, что это не железо, а болезнь Дымова.

«Nature morte, порт... – думала она, опять впадая в забытье, – спорт... курорт... А как Шрек? Шрек, грек, грек... грек. А где-то теперь мои друзья? Знают ли они, что у нас горе? Господи, спаси... избави. Шрек, грек...»

И опять железо... Время тянулось длинно, а часы в нижнем этаже били часто. И то и дело слышались звонки; приходили доктора... Вошла горничная с пустым стаканом на подносе и спросила:

– Барыня, постель прикажете постлать?

И, не получив ответа, вышла. Пробили внизу часы, приснился дождь на Волге, и опять кто-то вошел в спальню, кажется, посторонний. Ольга Ивановна вскочила и узнала Коростелева.

– Который час? – спросила она.

– Около трех.

– Ну что?

– Да что! Я пришел сказать: кончается...

Он всхлипнул, сел на кровать рядом с ней и вытер слезы рукавом. Она сразу не поняла, но вся похолодела и стала медленно креститься.

– Кончается... – повторил он тонким голоском и опять всхлипнул. – Умирает, потому что пожертвовал собой... Какая потеря для науки! – сказал он с горечью. – Это, если всех нас сравнить с ним, был великий, необыкновенный человек! Какие дарования! Какие надежды он подавал нам всем! – продолжал Коростелев, ломая руки. – Господи боже мой, это был бы такой ученый, какого теперь с огнем не найдешь. Оська Дымов, Оська Дымов, что ты наделал! Ай-ай, боже мой!

Коростелев в отчаянии закрыл обеими руками лицо и покачал головой.

– А какая нравственная сила! – продолжал он, всё больше и больше озлобляясь на кого-то. – Добрая, чистая, любящая душа – не человек, а стекло! Служил науке и умер от науки. А работал, как вол, день и ночь, никто его не щадил, и молодой ученый, будущий профессор, должен был искать себе практику и по ночам заниматься переводами, чтобы платить вот за эти... подлые тряпки!

Коростелев поглядел с ненавистью на Ольгу Ивановну, ухватился за простыню обеими руками и сердито рванул, как будто она была виновата.

– И сам себя не щадил, и его не щадил. Э, да что, в сущности!

– Да, редкий человек! – сказал кто-то басом в гостиной.

Ольга Ивановна вспомнила всю свою жизнь с ним, от начала до конца, со всеми подробностями, и вдруг поняла, что это был в самом деле необыкновенный, редкий и, в сравнении с теми, кого она знала, великий человек. И вспомнив, как к нему относились ее покойный отец и все товарищи-врачи, она поняла, что все они видели в нем будущую знаменитость. Стены, потолок, лампа и ковер на полу замигали ей насмешливо, как бы желая сказать: «Прозевала! прозевала!» Она с плачем бросилась из спальни, шмыгнула в гостиной мимо какого-то

незнакомому человеку и вбежала в кабинет к мужу. Он лежал неподвижно на турецком диване, покрытый до пояса одеялом. Лицо его страшно осунулось, похудело и имело серовато-желтый цвет, какого никогда не бывает у живых; и только по лбу, по черным бровям да по знакомой улыбке можно было узнать, что это Дымов. Ольга Ивановна быстро ощупала его грудь, лоб и руки. Грудь еще была тепла, но лоб и руки были неприятно холодны. И полуоткрытые глаза смотрели не на Ольгу Ивановну, а на одеяло.

– Дымов! – позвала она громко. – Дымов!

Она хотела объяснить ему, что то была ошибка, что не всё еще потеряно, что жизнь еще может быть прекрасной и счастливой, что он редкий, необыкновенный, великий человек и что она будет всю жизнь благоговеть перед ним, молиться и испытывать священный страх...

– Дымов! – звала она его, трепля его за плечо и не веря тому, что он уже никогда не проснется. – Дымов, Дымов же!

А в гостиной Коростелев говорил горничной:

– Да что тут спрашивать? Вы ступайте в церковную сторожку и спросите, где живут богаделки. Они и обмоют тело и уберут – всё сделают, что нужно.

После театра

Надя Зеленина, вернувшись с мамой из театра, где давали «Евгения Онегина», и придя к себе в комнату, быстро сбросила платье, распустила косу и в одной юбке и в белой кофточке поскорее села за стол, чтобы написать такое письмо, как Татьяна.

«Я люблю вас, – написала она, – но вы меня не любите, не любите!»

Написала и засмеялась.

Ей было только шестнадцать лет, и она еще никого не любила. Она знала, что ее любят офицер Горный и студент Груздев, но теперь, после оперы, ей хотелось сомневаться в их любви. Быть нелюбимой и несчастной – как это интересно! В том, когда один любит больше, а другой равнодушен, есть что-то красивое, трогательное и поэтическое. Онегин интересен тем, что совсем не любит, а Татьяна очаровательна, потому что очень любит, и если бы они одинаково любили друг друга и были счастливы, то, пожалуй, показались бы скучными.

«Перестаньте же уверять, что вы меня любите, – продолжала Надя писать, думая об офицере Горном. – Поверить вам я не могу. Вы очень умны, образованны, серьезны, у вас громадный талант и, быть может, вас ожидает блестящая будущность, а я неинтересная, ничтожная девушка, и вы сами отлично знаете, что в вашей жизни я буду только помехой. Правда, вы увлеклись мною и вы думали, что встретили во мне ваш идеал, но это была ошибка, и вы теперь уже спрашиваете себя в отчаянии: зачем я встретил эту девушку? И только ваша доброта мешает вам сознаться в этом!..»

Наде стало жаль себя, она заплакала и продолжала:

«Мне тяжело оставить маму и брата, а то бы я надела монашескую рясу и ушла, куда глаза глядят. А вы бы стали свободны и полюбили другую. Ах, если бы я умерла!»

Сквозь слезы нельзя было разобрать написанного; на столе, на полу и на потолке дрожали короткие радуги, как будто Надя смотрела сквозь призму. Писать было нельзя, она откинулась на спинку кресла и стала думать о Горном.

Боже мой, как интересны, как обаятельны мужчины! Надя вспомнила, какое прекрасное выражение, заискивающее, виноватое и мягкое, бывает у офицера, когда с ним спорят о музыке, и какие при этом он делает усилия над собой, чтобы его голос не звучал страстно. В обществе, где холодное высокомерие и равнодушие считаются признаком хорошего воспитания и благородного нрава, следует прятать свою страсть. И он прячет, но это ему не удается, и все отлично знают, что он страстно любит музыку. Бесконечные споры о музыке, смелые суждения людей непонимающих держат его в постоянном напряжении, он напуган, робок, молчалив. Играет он на рояле великолепно, как настоящий пианист, и если бы он не был офицером, то наверное был бы знаменитым музыкантом.

Слезы высохли на глазах. Надя вспомнила, что Горный объяснялся ей в любви в симфоническом собрании и потом внизу около вешалок, когда со всех сторон дул сквозной ветер.

«Я очень рада, что вы, наконец, познакомились со студентом Груздевым, – продолжала она писать. – Он очень умный человек, и вы, наверное, его полюбите. Вчера он был у нас и просидел до двух часов. Все мы были в восторге, и я жалела, что вы не приехали к нам. Он говорил много замечательного».

Надя положила на стол руки и склонила на них голову, и ее волосы закрыли письмо. Она вспомнила, что студент Груздев тоже любит ее и что он имеет такое же право на ее письмо, как и Горный. В самом деле, не написать ли лучше Груздеву? Без всякой причины в груди ее шевельнулась радость: сначала радость была маленькая и каталась в груди, как резиновый мячик, потом она стала шире, больше и хлынула как волна. Надя уже забыла про Горного и Груздева, мысли ее путались, а радость всё росла и росла, из груди она пошла в руки и в ноги, и казалось, будто легкий прохладный ветерок подул на голову и зашевелил волосами. Плечи

ее задрожали от тихого смеха, задрожал и стол, и стекло на лампе, и на письмо брызнули из глаз слезы. Она была не в силах остановить этого смеха и, чтобы показать самой себе, что она смеется не без причины, она спешила вспомнить что-нибудь смешное.

– Какой смешной пудель! – проговорила она, чувствуя, что ей становится душно от смеха. – Какой смешной пудель!

Она вспомнила, как Груздев вчера после чаю шалил с пуделем Максимом и потом рассказал про одного очень умного пуделя, который погнался на дворе за вороном, а ворон оглянулся на него и сказал:

– Ах ты, мошенник!

Пудель, не знавший, что он имеет дело с ученым вороном, страшно сконфузился и отступил в недоумении, потом стал лаять.

– Нет, буду лучше любить Груздева, – решила Надя и разорвала письмо.

Она стала думать о студенте, об его любви, о своей любви, но выходило так, что мысли в голове расплывались и она думала обо всем: о маме, об улице, о карандаше, о рояле... Думала она с радостью и находила, что всё хорошо, великолепно, а радость говорила ей, что это еще не всё, что немного погодя будет еще лучше. Скоро весна, лето, ехать с мамой в Горбики, приедет в отпуск Горный, будет гулять с нею по саду и ухаживать. Приедет и Груздев. Он будет играть с нею в крокет и в кегли, рассказывать ей смешные или удивительные вещи. Ей страстно захотелось сада, темноты, чистого неба, звезд. Опять ее плечи задрожали от смеха и показалось ей, что в комнате запахло полынью и будто в окно ударила ветка.

Она пошла к себе на постель, села и, не зная, что делать со своею большою радостью, которая томила ее, смотрела на образ, висевший на спинке ее кровати, и говорила:

– Господи! Господи! Господи!

Отрывок

Действительный статский советник Козерогов, выйдя в отставку, купил себе небольшое имение и поселился в нем. Здесь, подражая отчасти Цинциннату, отчасти же профессору Кайгородову, он трудился в поте лица и записывал свои наблюдения над природой. После его смерти записки его вместе с прочим имуществом перешли по завещанию к его экономке Марфе Евлампиевне. Как известно, почтенная старушка снесла барскую усадьбу и на месте ее построила превосходный трактир с продажей крепких напитков. В этом трактире была особая «чистая» комната для проезжающих помещиков и чиновников, и на столе в комнате были положены записки покойного на случай, буде кому из проезжающих понадобится бумага. Один листок записок попал в мои руки; он, по-видимому, относится к самому началу сельскохозяйственной деятельности покойного и содержит в себе следующее:

«3 марта. Весенний прилет птиц уже начался: вчера видел воробьев. Привет вам, пернатые дети юга! В вашем сладостном чириканье как бы слышу пожелание: „Будьте счастливы, ваше превосходительство!“

14 марта. Спросил сегодня у Марфы Евлампиевны: „Отчего это петух поет так часто?“ Она мне ответила: „Оттого, что у него горло есть“. А я ей: „У меня тоже есть горло, однако же я не пою!“ Как много в природе таинственного! Служа в Петербурге, я неоднократно ел там индюков, но живыми их видел впервые только вчера. Весьма замечательная птица.

22 марта. Приезжал становой пристав. Долго беседовали о добродетели – я сидя, он стоя. Между прочим, он спросил меня: „А желали бы вы, ваше превосходительство, чтобы к вам опять вернулась ваша молодость?“ Я ему ответил на это: „Нет, не желаю, потому что, будучи молодым, я не имел бы такого чина“. Он согласился со мной и уехал видимо растроганный.

16 апреля. Собственноручно вскопал на огороде две грядки и посеял на них манную крупу. Никому об этом не сказал, дабы сделать сюрприз моей Марфе Евлампиевне, которой я обязан многими счастливыми минутами в жизни. Вчера за чаем она горько роптала на свою комплекцию и говорила, что увеличивающаяся полнота уже мешает ей пройти в кладовую. Я ей на это заметил: „Напротив, душенька, полнота форм ваших служит вам к украшению и к наибольшему моему расположению к вам“. Она вспыхнула, я же встал и обнял ее обеими руками, ибо одною рукой ее не обхватишь.

28 мая. Один старик, увидев меня около женской купальни, спросил меня: зачем я тут сижу? Я ответил ему: „Наблюдаю за тем, чтобы молодые люди сюда не ходили и здесь не сидели“. – „Давайте же вместе наблюдать“. Сказавши это, старик сел рядом со мной, и мы стали говорить о добродетели».

История одного торгового предприятия

Андрей Андреевич Сидоров получил в наследство от своей мамы четыре тысячи рублей и решил открыть на эти деньги книжный магазин. А такой магазин был крайне необходим. Город коснел в невежестве и в предрассудках; старики только ходили в баню, чиновники играли в карты и трескали водку, дамы сплетничали, молодежь жила без идеалов, девицы день-деньской мечтали о замужестве и ели гречневую крупу, мужа били своих жен, и по улицам бродили свиньи.

«Идей, побольше идей! – думал Андрей Андреевич. – Идей!»

Нанявши помещение под магазин, он съездил в Москву и привез оттуда много старых и новейших авторов и много учебников, и расставил все это добро по полкам. В первые три недели покупатели совсем не приходили. Андрей Андреевич сидел за прилавком, читал Михайловского и старался честно мыслить. Когда же ему невзначай приходило в голову, например, что недурно бы теперя покушать леща с кашей, то он тотчас же ловил себя на этих мыслях: «Ах, как пошло!» Каждый день утром в магазин опрометью вбегала озябшая девка в платке и в кожаных калошах на босую ногу и говорила:

– Дай на две копейки уксусу!

И Андрей Андреевич с презрением отвечал ей:

– Дверью ошиблись, сударыня!

Когда к нему заходил кто-нибудь из приятелей, то он, сделав значительное и таинственное лицо, доставал с самой дальней полки третий том Писарева, сдувал с него пыль и с таким выражением, как будто у него в магазине есть еще кое-что, да он боится показать, говорил:

– Да, батенька... Это штучка, я вам доложу, не того... Да... Тут, батенька, одним словом, я должен заметить, такое, понимаете ли, что прочтешь да только руками разведешь... Да.

– Смотри, брат, как бы тебе не влетело!

Через три недели пришел первый покупатель. Это был толстый, седой господин с бакеннами, в фуражке с красным околышем, по всем видимостям, помещик. Он потребовал вторую часть «Родного слова».

– А грифелей у вас нет? – спросил он.

– Не держу.

– Напрасно... Жаль. Не хочется из-за пустяка ехать на базар...

«В самом деле, напрасно я не держу грифелей, – думал Андрей Андреевич по уходе покупателя. – Здесь, в провинции, нельзя узко специализироваться, а надо продавать всё, что относится к просвещению и так или иначе способствует ему».

Он написал в Москву, и не прошло месяца, как на окне его магазина были уже выставлены перья, карандаши, ручки, ученические тетрадки, аспидные доски и другие школьные принадлежности. К нему стали изредка заходить мальчики и девочки, и был даже один такой день, когда он выручил рубль сорок копеек. Однажды опрометью влетела к нему девка в кожаных калошах; он уже раскрыл рот, чтобы сказать ей с презрением, что она ошиблась дверью, но она крикнула:

– Дай на копейку бумаги и марку за семь копеек!

После этого Андрей Андреевич стал держать почтовые и гербовые марки и к стати уж вексельную бумагу. Месяцев через восемь (считая со дня открытия магазина) к нему зашла одна дама, чтобы купить перьев.

– А нет ли у вас гимназических ранцев? – спросила она.

– Увы, сударыня, не держу!

– Ах, какая жалость! В таком случае покажите мне, какие у вас есть куклы, но только подешевле.

– Сударыня, и кукол нет! – сказал печально Андрей Андреевич.

Он, недолго думая, написал в Москву, и скоро в его магазине появились ранцы, куклы, барабаны, сабли, гармоники, мячи и всякие игрушки.

– Это все пустяки! – говорил он своим приятелям. – А вот погодите, я заведу учебные пособия и рациональные игры! У меня, понимаете ли, воспитательная часть будет зиждиться, что называется, на тончайших выводах науки, одним словом...

Он выписал гимнастические гири, крокет, триктрак, детский бильярд, садовые инструменты для детей и десятка два очень умных, рациональных игр. Потом обыватели, проходя мимо его магазина, к великому своему удовольствию увидели два велосипеда: один большой, другой поменьше. И торговля пошла на славу. Особенно хороша была торговля перед Рождеством, когда Андрей Андреевич вывесил на окне объявление, что у него продаются украшения для елки.

– Я им еще гигиены подпущу, понимаете ли, – говорил он своим приятелям, потирая руки. – Дайте мне только в Москву съездить! У меня будут такие фильтры и всякие научные усовершенствования, что вы с ума посойдете, одним словом. Науку, батенька, нельзя игнорировать. Не-ет!

Наторговавши много денег, он поехал в Москву и купил там разных товаров тысяч на пять, за наличные и в кредит. Тут были и фильтры, и превосходные лампы для письменных столов, и гитары, и гигиенические кальсоны для детей, и соски, и портмоне, и зоологические коллекции. Кстати же он купил на пятьсот рублей превосходной посуды и был рад, что купил, так как красивые вещи развивают изящный вкус и смягчают нравы. Вернувшись из Москвы домой, он занялся расстановкой нового товара по полкам и этажеркам. И как-то так случилось, что, когда он полез, чтобы убрать верхнюю полку, произошло некоторое сотрясение и десять томов Михайловского один за другим свалились с полки; один том ударил его по голове, остальные же попадали вниз прямо на лампы и разбили два ламповых шара.

– Как, однако, они... толсто пишут! – пробормотал Андрей Андреевич, почесываясь.

Он собрал все книги, связал их крепко веревкой и спрятал под прилавок. Дня через два после этого ему сообщили, что сосед бакалейщик приговорен в арестантские роты за истязание племянника и что лавка поэтому сдается. Андрей Андреевич очень обрадовался и приказал оставить лавку за собой. Скоро в стене была уже пробита дверь и обе лавки, соединенные в одну, были битком набиты товаром; так как покупатели, заходившие во вторую половину лавки, по привычке все спрашивали чаю, сахару и керосину, то Андрей Андреевич, недолго думая, завел и бакалейный товар.

В настоящее время это один из самых видных торговцев у нас в городе. Он торгует посудой, табаком, дегтем, мылом, бубликами, красным, галантерейным и москательным товаром, ружьями, кожами и окороками. Он снял на базаре ренсковый погреб и, говорят, собирается открыть семейные бани с номерами. Книги же, которые когда-то лежали у него на полках, в том числе и третий том Писарева, давно уже проданы по 1 р. 5 к. за пуд.

На именинах и на свадьбах прежние приятели, которых Андрей Андреевич теперь в насмешку величает «американцами», иногда заводят с ним речь о прогрессе, о литературе и других высших материях.

– Вы читали, Андрей Андреевич, последнюю книжку «Вестника Европы»? – спрашивают его.

– Нет, не читал-с... – отвечает он, щурясь и играя толстой цепочкой. – Это нас не касается. Мы более положительным делом занимаемся.

Из записной книжки старого педагога

«Рассуждают: семья должна идти рука об руку со школой. Да, но только в том случае, если семья благородная, а не купеческая или мещанская, ибо сближение с низшими может отдалить школу от совершенства. Впрочем, из человеколюбия не следует иногда лишать купцов и богатых мещан удовольствия – например, приглашать педагогов на пирог».

«При словах „предложение“ и „союз“ ученицы скромно потупляют глаза и краснеют, а при словах „прилагательное“ и „придаточное“ ученики с надеждою взирают на будущее».

«Так как в русском языке почти уже не употребляются фита, ижица и звательный падеж, то, рассуждая по справедливости, следовало бы убавить жалованье учителям русского языка, ибо с уменьшением букв и падежей уменьшилась и их работа».

«Наши педагоги убеждают своих учеников не тратить времени на чтение романов и газет, так как это мешает сосредоточению и развлекает. К тому же романы и газеты бесполезны. Но как ученики могут поверить своим руководителям, если последние сами отдают много времени газетам и журналам? Врачу, исцелися сам! Что касается меня, то в этом отношении я совершенно чист: вот уж 30 лет, как я не прочел ни одной книги и газеты».

«Преподавая ученикам науки, следует преимущественнейше наблюдать за тем, чтобы ученики непременно отдавали свои книги в переплет, ибо корешком можно ударить по лбу лишь в том случае, если книга переплетена».

«Дети! Какое блаженство получать пенсию!»

В ссылке

Старый Семен, прозванный Толковым, и молодой татарин, которого никто не знал по имени, сидели на берегу около костра; остальные три перевозчика находились в избе. Семен, старик лет шестидесяти, худошавый и беззубый, но широкий в плечах и на вид еще здоровый, был пьян; он давно бы уже пошел спать, но в кармане у него был полуштоф, и он боялся, как бы в избе молодцы не попросили у него водки. Татарин был болен, томился и, кутаясь в свои лохмотья, рассказывал, как хорошо в Симбирской губернии и какая у него осталась дома красивая и умная жена. Ему было лет двадцать пять, не больше, а теперь, при свете костра, он, бледный, с печальным болезненным лицом, казался мальчиком.

– Оно, конечно, тут не рай, – говорил Толковый. – Сам видишь: вода, голые берега, кругом глина и больше ничего... Святая давно уже прошла, а на реке лед идет, и утром нынче снег был.

– Худо! худо! – сказал татарин и огляделся с испугом.

Шагах в десяти текла темная холодная река; она ворчала, хлюпала об изрытый глинистый берег и быстро неслась куда-то в далекое море. У самого берега темнела большая баржа, которую перевозчики называют «карбасом». Далеко на том берегу, потухая и переливаясь, змейками ползали огни: это жгли прошлогоднюю траву. А за змейками опять потемки. Слышно, как небольшие льдины стучат о баржу. Сыро, холодно...

Татарин взглянул на небо. Звезд так же много, как дома у него, такая же чернота кругом, но чего-то недостает. Дома, в Симбирской губернии, совсем не такие звезды и не такое небо.

– Худо! худо! – повторил он.

– Привыкнешь! – сказал Толковый и засмеялся.

– Теперь ты еще молодой, глупый, молоко на губах не обсохло, и кажется тебе по глупости, что несчастней тебя человека нет, а придет время, сам скажешь: дай бог всякому такой жизни. Ты на меня погляди. Через неделю времени пройдет вода и поставим тут паром, вы все пойдете по Сибири гулять, а я останусь и зачну ходить от берега к берегу. Уж двадцать два года так хожу. День и ночь. Щука и нельма под водой, а я над водой. И слава богу. Ничего мне не надо. Дай бог всякому такой жизни.

Татарин подложил в костер хворосту, лег поближе к огню и сказал:

– У меня отец хворый человек. Когда он помрет, мать и жена сюда приедут. Обещали.

– А на что тебе мать и жена? – спросил Толковый. – Одна глупость, брат. Это тебя бесмущает, язви его душу. Ты его не слушай, проклятого. Не давай ему воли. Он тебе насчет бабы, а ты ему назло: не желаю! Он тебе насчет воли, а ты упрись и – не желаю! Ничего не надо! Нету ни отца, ни матери, ни жены, ни воли, ни двора, ни кола! Ничего не надо, язви их душу!

Толковый потянул из бутылки и продолжал:

– Я, братуша, не мужик простой, не из хамского звания, а дьячковский сын и, когда на воле жил в Курске, в сюртуке ходил, а теперь довел себя до такой точки, что могу голый на земле спать и траву жрать. И дай бог всякому такой жизни. Ничего мне не надо и никого я не боюсь, и так себя понимаю, что богаче и вольнее меня человека нет. Как прислали меня сюда из России, я с первого же дня уперся: ничего не хочу! Бес мне и про жену, и про родню, и про волю, а я ему: ничего мне не надо! Уперся на своем и вот, как видишь, хорошо живу, не жалуюсь. А ежели кто даст поблажку бесу и хоть раз послушается, тот пропал, нет ему спасения: завязнет в болоте по самую маковку и не вылезет. Не то, что ваш брат, глупый мужик, но и благородные и образованные пропадают. Лет пятнадцать назад прислали сюда из России одного барина. С братьями что-то там не поделил и в завещании фальшь сделал какую-то. Сказывали, из князей или баронов, а может, и просто из чиновников – кто его знает! Ну, приехал сюда барин и первым делом купил себе в Мухортинском дом и землю. «Хочу, говорит, своим

трудом жить, в поте лица, потому что, говорит, я теперь не господин, а поселенец». Что ж, говорю, помогай бог, дело хорошее. Человек он был тогда молодой, хлопотун, заботливый; сам и косил, бывало, и рыбу ловил, и верхом верст за шестьдесят ездил. Только вот беда: с первого же года стал ездить в Гырино, в почтовую контору. Стоит, бывало, у меня на пароме и вздыхает: «Эх, Семен, что-то долго не шлют мне из дому денег!» Не надо, говорю, Василий Сергеич, денег. К чему они? Вы старое-то бросьте, забудьте, как будто его вовсе не было, будто снилось оно только, а начинайте жить сызнова. Не слушайте, говорю, беса, – он до добра не доведет, в петлю затянет. Теперь вы денег желаете, говорю, а пройдет мало-мало времени и, гляди, чего другого захотите, а потом и еще и еще. Ежели, говорю, желаете для себя счастья, то переее всего ничего не желайте. Да... Уж ежели, говорю ему, нас с вами судьба обидела горько, то нечего у ней милости просить и кланяться ей в ножки, а надо пренебрегать и смеяться над ней. А то она сама насмеется. Так и говорю ему... Года через два перевожу я его на эту сторону, а он потирает руки и смеется. «Еду, говорит, в Гырино жену встречать. Пожалела, говорит, меня, приехала. Хорошая она у меня, добрая». А сам от радости даже запыхался. Вот через день едет с женой. Дама молодая, красивая, в шляпке; на руках младенчик-девочка. И всякого багажу много. А Василий Сергеич мой вертится около нее, не наглядится и никак не нахвалится. «Да, брат Семен, и в Сибири люди живут!» Ну, думаю, ладно, не обрадуешься. И с той поры, почитай, каждую неделю, стал он в Гырино навевываться: не пришли ли из России деньги. Денег-то понадобилось пропасть. «Она, говорит, ради меня тут в Сибири свою молодость и красоту губит и, говорит, со мной мою горькую долю делит, и через это, говорит, я должен предоставлять ей всякое удовольствие...» Чтоб барыне веселей было, завел он знакомство с чиновниками и с шушерой всякой. А всю эту компанию, известно, кормить и поить надо, да чтоб и фортепьян был, и собачка лохматенькая на диване, – чтоб она издохла... Роскошь, одним словом, баловство. Прожила с ним барыня недолго. Где ей? Глина, вода, холодно, ни тебе овоща, ни фрукта, кругом необразованные да пьяные, никакого обхождения, а она дама балованная, столичная... Известно, соскучилась. Да и муж, как ни говори, уже не барин, а поселенец – не та честь. Года через три, помню, ночью под самый Успенев день кричат с того берега. Пошел я туда на пароме, гляжу – барыня, вся окутавшись, а с ней молодой господин, из чиновников. Тройка... Перевез я их сюда, сели – и поминай, как звали! Только их и видели. А под утро Василий Сергеич скачет на паре. – «Не проезжала ли тут, Семен, моя жена с господином в очках?» Проезжала, говорю, – ищи ветра в поле! Поскакал он вдогонку, суток пять гнался. Когда после перевозил я его на ту сторону, он повалился на паром и давай головой биться о доски и выть. То-то вот, говорю, и есть. Смеюсь и припоминаю ему: «И в Сибири люди живут!» А он еще пуще бьется... Потом это захотелось ему воли. Жена в Россию подалась, и его, значит, туда потянуло, чтоб ее повидать и от полюбовника вызволить. И стал он, братец ты мой, чуть не каждый день скакать то на почту, то в город к начальству. Всё прошения посылал и подавал, чтоб его помиловали и назад домой вернули, и сказывал он, на одни телеграммы у него рублей двести пошло. Землю продал, дом жидам заложил. Сам поседел, сгорбился, с лица желтый стал, словно чахоточный. Говорит с тобою, а сам: кхе-кхе-кхе... и слезы на глазах. Промаялся так с прошениями годов восемь, а теперь опять ожил и веселый стал: новое баловство придумал. Дочка, видишь, выросла. Глядит на нее и не надышится. А она, правду говорить, ничего себе: красивенькая, чернобровая и нрава бойкого. Каждое воскресенье он в Гырино ездит с ней в церковь. Стоят оба на пароме рядышком, она смеется, а он с нее глаз не сводит. «Да, говорит, Семен, и в Сибири люди живут. И в Сибири бывает счастье. Погляди-ка, говорит, какая у меня дочка! Чай, другой такой и за тысячу верст не сыщешь». Дочка, говорю, хорошая, это верно, действительно... А сам про себя думаю: «Ужо погоди... Девка она молодая, кровь играет, жить хочется, а какая тут жизнь?» И стала, брат, она тосковать... Чахла-чахла, извелась вся, заболела и теперь без задних ног. Чахотка. Вот тебе и сибирское счастье, язви его душу, вот тебе и в Сибири люди живут... Стал он всё по докторам ездить и

возить их к себе. Как заслышит, что верст за двести или за триста есть доктор или знахарь, так и едет за ним. Страсть сколько денег на докторов ушло, а уж по-моему лучше пропить эти деньги... Всё равно помрет. Помрет она всенепременно, а он тогда совсем пропал. Повесится с тоски или в Россию убежит – дело известное. Убежит, а его поймают, потом суд, каторга, плетей попробует...

– Хорошо, хорошо, – пробормотал татарин, пожимаясь от озноба.

– Что хорошо? – спросил Толковый.

– Жена, дочка... Пускай каторга и пускай тоска, зато он видал и жену и дочку... Ты говоришь, ничего не надо. Но ничего – худо! Жена прожила с ним три года – это ему бог подарил. Ничего – худо, а три года – хорошо. Как не понимаешь?

Дрожа, с напряжением подбирая русские слова, которых он знал немного, и заикаясь, татарин заговорил о том, что не приведи бог захворать на чужой стороне, умереть и быть зарытым в холодной ржавой земле, что если бы жена приехала к нему хотя на один день и даже на один час, то за такое счастье он согласился бы принять какие угодно муки и благодарил бы бога. Лучше один день счастья, чем ничего.

Затем он опять рассказал, какая у него осталась дома красивая и умная жена, потом, взявшись обеими руками за голову, он заплакал и стал уверять Семена, что он ни в чем не виноват и терпит напраслину. Его два брата и дядя увели у мужика лошадей и избивали старика до полусмерти, а общество рассудило не по совести и составило приговор, по которому пошли в Сибирь все три брата, а дядя, богатый человек, остался дома.

– Привы-ыкнешь! – сказал Семен.

Татарин замолчал и уставился заплаканными глазами на огонь; лицо у него выражало недоумение и испуг, как будто он всё еще не понимал, зачем он здесь в темноте и в сырости, около чужих людей, а не в Симбирской губернии. Толковый лег около огня, чему-то усмехнулся и затянул вполголоса песню.

– Что ей за радость с отцом-то? – проговорил он, немного погодя. – Он ее любит, утешается, это точно; но, брат, тоже пальца в рот ему не клади: строгий старик, крутой старик. А молодым девкам не строгость нужна... Им нужна ласка да ха-ха-ха, да хи-хо-хо, духи да помада. Да... Эх, дела, дела! – вздохнул Семен и тяжело поднялся. – Водка вся вышла, значит, спать пора. А? Пойду, брат...

Оставшись один, татарин подложил хворосту, лег и, глядя на огонь, стал думать о родной деревне и о своей жене; приехала бы жена хоть на месяц, хоть на день, а там, если хочет, пусть уезжает назад! Лучше месяц или даже день, чем ничего. Но если жена сдержит обещание и приедет, то чем ее придется кормить? Где она будет тут жить?

– Если нет чего-чего кушать, то как живи? – спросил вслух татарин.

За то, что он теперь день и ночь работал веслом, ему платили только десять копеек в сутки; правда, проезжие давали на чай и на водку, но ребята делили весь доход между собой, а татарину ничего не давали и только смеялись над ним. А от нужды голодно, холодно и страшно... Теперь бы, когда всё тело болит и дрожит, пойти в избушку и лечь спать, но там укрыться нечем и холоднее, чем на берегу; здесь тоже нечем укрыться, но всё же можно хоть костер развести...

Через неделю, когда вода совсем спадет и поставят тут паром, все перевозчики, кроме Семена, станут уже не нужны, и татарин начнет ходить из деревни в деревню и просить милостыни и работы. Жене только семнадцать лет; она красивая, избалованная, застенчивая, – неужели и она будет ходить по деревням с открытым лицом и просить милостыню? Нет, об этом даже подумать страшно...

Уже светало; ясно обозначались баржа, кусты тальника на воде и зыбь, а назад оглянуться – там глинистый обрыв, внизу избушка, крытая бурой соломой, а выше лепятся деревянные избы. На деревне уже пели петухи.

Рыжий глинистый обрыв, баржа, река, чужие, недобрые люди, голод, холод, болезни – быть может, всего этого нет на самом деле. Вероятно, всё это только снится, – думал татарин. Он чувствовал, что спит, и слышал свой храп... Конечно, он дома, в Симбирской губернии, и стоит ему только назвать жену по имени, как она откликнется; а в соседней комнате мать... Однако, какие бывают страшные сны! К чему они? Татарин улыбнулся и открыл глаза. Какая это река? Волга?

Шел снег.

– Подава-ай! – кричал кто-то на той стороне. – Карба-а-ас!

Татарин очнулся и пошел будить товарищей, чтобы плыть на ту сторону. Надевая на ходу рваные тулупы, бранясь хриплыми спросонок голосами и пожимаясь от холода, показались на берегу перевозчики. После сна река, от которой веяло пронизывающим холодом, по-видимому, казалась им отвратительной и жуткой. Не спеша попрыгали они в карбас... Татарин и три перевозчика взяли за длинные весла с широкими лопастями, похожие в потемках на рачьи клешни, Семен навалился животом на длинный руль. А на той стороне всё еще продолжали кричать и два раза выстрелили из револьвера, думая, вероятно, что перевозчики спят или ушли на деревню, в кабак.

– Ладно, успеешь! – проговорил Толковый тоном человека, убежденного, что на этом свете нет надобности спешить – всё равно, мол, толку не выйдет.

Тяжелая неуклюжая баржа отделилась от берега и поплыла меж кустов тальника, и только по тому, что тальник медленно уходил назад, заметно было, что она не стояла на одном месте, а двигалась. Перевозчики мерно, враз, взмахивали веслами; Толковый лежал животом на руле и, описывая в воздухе дугу, летал с одного борта на другой. Было в потемках похоже на то, как будто люди сидели на каком-то допотопном животном с длинными лапами и уплывали на нем в холодную унылую страну, ту самую, которая иногда снится во время кошмара.

Миновали тальник, выплыли на простор. На том берегу уже слышали стук и мерное плесканье весел и кричали: «Скорей! скорей!» Прошло еще минут с десять, и баржа тяжело ударилась о пристань.

– И всё оно сыплет, и всё оно сыплет! – бормотал Семен, вытирая с лица снег. – И откуда оно берется, бог его знает! На той стороне ждал худощавый, невысокого роста старик в полушубке на лисьем меху и в белой мерлушковой шапке. Он стоял поодаль от лошадей и не двигался; у него было угрюмое, сосредоточенное выражение, как будто он старался что-то вспомнить и сердился на свою непослушную память. Когда Семен подошел к нему и, улыбаясь, снял шапку, то он сказал:

– Спешу в Анастасьевку. Дочери опять хуже, а в Анастасьевку, говорят, нового доктора назначили.

Втащили тарантас на баржу и поплыли назад. Человек, которого Семен назвал Василием Сергеичем, всё время, пока плыли, стоял неподвижно, крепко сжав свои толстые губы и глядя в одну точку; когда ямщик попросил у него позволения покурить в его присутствии, он ничего не ответил, точно не слышал. А Семен, лежа животом на руле, насмешливо глядел на него и говорил:

– И в Сибири люди живут. Живу-ут!

На лице у Толкового было торжествующее выражение, как будто он что-то доказал и будто радовался, что вышло именно так, как он предполагал. Несчастный, беспомощный вид человека в полушубке на лисьем меху, по-видимому, доставлял ему большое удовольствие.

– Грязно теперь ехать, Василий Сергеич, – сказал он, когда на берегу запрягли лошадей. – Погодили бы ездить еще недельки с две, пока суше станет. А то и вовсе бы не ездили... Ежели бы толк какой от езды был, а то, сами изволите знать, люди веки вечные ездят, и днем и ночью, а всё никакого толку. Право!

Василий Сергеич молча дал на водку, сел в тарантас и поехал дальше.

– Вот, за доктором поскакал! – сказал Семен, пожимаясь от холода. – Да, ищи настоящего доктора, догоняй ветра в поле, хватай чёрта за хвост, язви твою душу! Экие чудачки, господа, прости меня грешного!

Татарин подошел к Толковому и, глядя на него с ненавистью и с отвращением, дрожа и примешивая к своей ломаной речи татарские слова, заговорил:

– Он хорошо... хорошо, а ты – худо! Ты худо! Барин хорошая душа, отличный, а ты зверь, ты худо! Барин живой, а ты дохлый... Бог создал человека, чтоб живой был, чтоб и радость была, и тоска была, и горе было, а ты хочешь ничего, значит, ты не живой, а камень, глина! Камню надо ничего и тебе ничего... Ты камень – и бог тебя не любит, а барина любит!

Все засмеялись; татарин брезгливо поморщился, махнул рукой и, кутаясь в свои лохмотья, пошел к костру. Перевозчики и Семен поплелись в избушку.

– Холодно! – прохрипел один перевозчик, растягиваясь на соломе, которою был покрыт сырой глинистый пол.

– Да, не тепло! – согласился другой. – Жизнь каторжная!..

Все улеглись. Дверь отворилась от ветра, и в избушку понесло снегом. Встать и затворить дверь никому не хотелось: было холодно и лень.

– А мне хорошо! – проговорил Семен засыпая. – Дай бог всякому такой жизни.

– Ты, известно, семикаторжный. Тебя и черти не берут.

Со двора послышались звуки, похожие на собачий вой.

– Что это? Кто это там?

– Это татарин плачет.

– Ишь ты... Чудак!

– Привы-ыкнет! – сказал Семен и тотчас же заснул.

Скоро заснули и остальные. А дверь так и осталась не затворенной.

Рыбья любовь

Как это ни странно, но единственный карась, живущий в пруде близ дачи генерала Панталыкина, влюбился по самые уши в дачницу Соню Мамочкину. Впрочем, что же тут странного? Влюбился же лермонтовский демон в Тамару, а лебедь в Леду, и разве не случается, что канцеляристы влюбляются в дочерей своих начальников? Каждое утро Соня Мамочкина приходила со своей тетей купаться. Влюбленный карась плавал у самого берега и наблюдал. От близкого соседства с литейным заводом «Кранделя сыновья» вода в пруде давно уже стала коричневой, но тем не менее карасю все было видно. Он видел, как по голубому небу носились белые облака и птицы, как разоблачались дачницы, как из-за прибрежных кустов поглядывали на них молодые люди, как полная тетя, прежде чем войти в воду, минут пять сидела на камне и, самодовольно поглаживая себя, говорила: «И в кого я такой слон уродилась? Даже глядеть страшно». Сняв с себя легкие одежды, Соня с визгом бросалась в воду, плавала, пожималась от холода, а карась, тут как тут, подплывал к ней и начинал жадно целовать ее ножки, плечи, шею...

Выкупавшись, дачницы уходили домой пить чай со сдобными булками, а карась одиноко плавал по громадному пруду и думал:

«Конечно, о шансах на взаимность не может быть и речи. Может ли она, такая прекрасная, полюбить меня, карася? Нет, тысячу раз нет! Не обольщай же себя мечтами, презренная рыба! Тебе остается только один удел – смерть! Но как умереть? Револьверов и фосфорных спичек в пруде нет. Для нашего брата, карасей, возможна только одна смерть – пасть щуки. Но где взять щуку? Была тут в пруде когда-то одна щука, да и та издохла от скуки. О, я несчастный!»

И, помышляя о смерти, молодой пессимист зарывался в тину и писал там дневник...

Однажды перед вечером Соня и ее тетя сидели на берегу пруда и удили рыбу. Карась плавал около поплавок и не отрывал глаз от любимой девушки. Вдруг в мозгу его, как молния, сверкнула идея.

«Я умру от ее руки! – подумал он и весело заиграл своими плавниками. – О, это будет чудная, сладкая смерть!»

И, полный решимости, только слегка побледнев, он подплыл к крючку Сони и взял его в рот.

– Соня, у тебя клюет! – взвизгнула тетя. – Милая, у тебя клюет!

– Ах! Ах!

Соня вскочила и дернула изо всех сил. Что-то золотистое сверкнуло в воздухе и шлепнулось в воду, оставив после себя круги.

– Сорвалось! – вскрикнули обе дачницы, побледнев. – Сорвалось! Ах! Милая!

Посмотрели на крючок и увидели на ней рыбью губу.

– Ах, милая, – сказала тетя, – не нужно было так сильно дергать. Теперь бедная рыбка осталась без губы...

Сорвавшись с крючка, мой герой был ошеломлен и долго не понимал, что с ним; потом же, придя в себя, он простонал:

– Опять жить! Опять! О, насмешка судьбы!

Заметив же, что у него недостает нижней челюсти, карась побледнел и дико захохотал... Он сошел с ума.

Но я боюсь, как бы не показалось странным, что я хочу занять, внимание серьезного читателя судьбою такого ничтожного и неинтересного существа, как карась. Впрочем, что же тут странного? Описывают же дамы в толстых журналах никому не нужных пескарей и улиток.

А я подражаю дамам. Быть может даже, я сам дама и только скрываюсь под мужским псевдонимом.

Итак, карась сошел с ума. Несчастный жив еще до сих пор. Караси вообще любят, чтобы их жарили в сметане, мой же герой любит теперь всякую смерть. Соня Мамочкина вышла замуж за содержателя аптекарского магазина, а тетя уехала в Липецк к замужней сестре. В этом нет ничего странного, так как у замужней сестры шестеро детей и все дети любят тетю.

Но далее. На литейном заводе «Кранделя сыновья» служит директором инженер Крысин. У него есть племянник Иван, который, как известно, пишет стихи и с жадностью печатает их во всех журналах и газетах. В один знойный полдень молодой поэт, проходя мимо пруда, вздумал выкупаться. Он разделся и полез в пруд. Безумный карась принял его за Соню Мамочкину, подплыл к нему и нежно поцеловал его в спину. Этот поцелуй имел самые губительные последствия: карась заразил поэта пессимизмом. Ничего не подозревая, поэт вылез из воды и, дико хохоча, отправился домой. Через несколько дней он поехал в Петербург; побыв там в редакциях, он заразил всех поэтов пессимизмом, и с того времени наши поэты стали писать мрачные, унылые стихи.

Соседи

Петр Михайлыч Ивашин был сильно не в духе: его сестра, девушка, ушла к Власичу, женатому человеку. Чтобы как-нибудь отделаться от тяжелого, унылого настроения, какое не оставляло его ни дома, ни в поле, он призывал к себе на помощь чувство справедливости, свои честные, хорошие убеждения – ведь он всегда стоял за свободную любовь! – но это не помогало, и он всякий раз помимо воли приходил к такому же заключению, как глупая няня, то есть, что сестра поступила дурно, а Власич украл сестру. И это было мучительно.

Мать целый день не выходила из своей комнаты, няня говорила шёпотом и всё вздыхала, тетка каждый день собиралась уехать, и чемоданы ее то вносили в переднюю, то уносили назад в комнату. В доме, во дворе и в саду была тишина, похожая на то, как будто в доме был покойник. Тетка, прислуга и даже мужики, казалось Петру Михайлычу, загадочно и с недоумением смотрели на него, как будто хотели сказать: «Твою сестру обольстили, что же ты бездействуешь?» И он упрекал себя в бездействии, хотя и не знал, в чем собственно должно было заключаться действие.

Так прошло дней шесть. В седьмой – это было в воскресенье после обеда – верховой привез письмо. Адрес был написан знакомым женским почерком: «Ее Превосх. Анне Николаевне Ивашиной». Петру Михайлычу почему-то показалось, что в оболочке письма и в почерке, и в недописанном слове «Превосх.» было что-то вызывающее, задорное, либеральное. А женский либерализм упрям, неумолим, жесток...

«Она скорее согласится умереть, чем сделать несчастной матери уступку, попросить у нее прощения», – подумал Петр Михайлыч, идя к матери с письмом.

Мать лежала в постели, одетая. Увидев сына, она порывисто поднялась и, поправляя седые волосы, выбившиеся из-под чепца, быстро спросила:

– Что? Что?

– Прислала... – сказал сын, подавая ей письмо.

Имя Зины и даже слово «она» не произносилось в доме; о Зине говорили безлично: «прислала», «ушла»... Мать узнала почерк дочери, и лицо ее стало некрасивым, неприятным, и седые волосы опять выбились из-под чепца.

– Нет! – сказала она, делая руками так, как будто письмо обожгло ей пальцы. – Нет, нет, никогда! Ни за что!

Мать истерически зарыдала от горя и стыда; ей, очевидно, хотелось прочесть письмо, но мешала гордость. Петр Михайлыч понимал, что ему самому следовало бы распечатать письмо и прочесть его вслух, но им вдруг овладела злоба, какой он раньше никогда не испытывал; он выбежал на двор и крикнул верховому:

– Скажи, что ответа не будет! Не будет ответа! Так и скажи, скотина!

И разорвал письмо; потом слезы выступили у него на глазах, и, чувствуя себя жестоким, виноватым и несчастным, он ушел в поле.

Ему шел только двадцать восьмой год, но уж он был толст, одевался по-стариковски во всё широкое и просторное и страдал одышкой. В нем были уже все задатки помещика старого холостяка. Он не влюблялся, о женитьбе не думал и любил только мать, сестру, няню, садовника Васильича; любил хорошо поесть, поспать после обеда, поговорить о политике и о возвышенных материях... В свое время он кончил курс в университете, но теперь смотрел на это так, как будто отбыл повинность, неизбежную для юношей в возрасте от 18 до 25 лет; по крайней мере, мысли, которые теперь каждый день бродили в его голове, не имели ничего общего с университетом и с теми науками, которые он проходил.

В поле было жарко и тихо, как перед дождем. В лесу парило, и шел душистый тяжелый запах от сосен и лиственного перегноя. Петр Михайлыч часто останавливался и вытирал мок-

рый лоб. Он осмотрел свои озимые и яровые, обошел клеверное поле и раза два согнал на опушке куропатку с цыплятами; и всё время он думал о том, что это невыносимое состояние не может продолжаться вечно и что надо его так или иначе кончить. Кончить как-нибудь глупо, дико, но непременно кончить.

«Но как же? Что же сделать?» – спрашивал он себя и умоляюще поглядывал на небо и на деревья. Как бы прося у них помощи.

Но небо и деревья молчали. Честные убеждения не помогали, а здравый смысл подсказывал, что мучительный вопрос можно решить не иначе, как глупо, и что сегодняшняя сцена с верховым не последняя в этом роде. Что еще будет – страшно подумать!

Когда он возвращался домой, уже заходило солнце. Теперь уж ему казалось, что вопроса никак нельзя решить. С совершившимся фактом мириться нельзя, не мириться тоже нельзя, а середины нет. Когда он, снявши шляпу и обмахиваясь платком, шел по дороге и до дома оставалось версты две, сзади слышались звонки. Это был затейливый и очень удачный подбор колокольчиков и бубенчиков, издававших стеклянные звуки. С таким звоном ездил один только исправник Медовский, бывший гусарский офицер, промотавшийся и истасканный, больной человек, дальний родственник Петра Михайлыча. У Ивашиных он был своим человеком и к Зине питал нежное отеческое чувство и восхищался ею.

– А я к вам, – сказал он, обогнав Петра Михайлыча. – Садитесь, подвезу.

Он улыбался и глядел весело; очевидно, не знал еще, что Зина ушла к Власичу; быть может, ему уже сообщали об этом, но он не верил. Петр Михайлыч почувствовал себя в затруднительном положении.

– Милости просим, – пробормотал он, краснея до слез и не зная, как и что солгать. – Я очень рад, – продолжал он, стараясь улыбнуться, – но... Зина уехала, а мама больна.

– Какая досада! – сказал исправник, задумчиво глядя на Петра Михайлыча. – А я собирался провести у вас вечер. Куда же уехала Зинаида Михайловна?

– К Синицким, а оттуда, кажется, хотела в монастырь. Не знаю наверно.

Исправник поговорил еще немного и повернул назад. Петр Михайлыч шел домой и с ужасом думал о том, какое чувство будет у исправника, когда он узнает правду. И Петр Михайлыч вообразил себе это чувство и, испытывая его, вошел в дом.

«Помоги, господи, помоги...» – думал он.

В столовой за вечерним чаем сидела одна только тетка. По обыкновению, на лице у нее было такое выражение, что она хоть и слабая, беззащитная, но обидеть себя никому не позволит. Петр Михайлыч сел на другой конец стола (он не любил тетки) и стал молча пить чай.

– Твоя мать сегодня опять не обедала, – сказала тетка. – Ты бы, Петруша, обратил внимание. Морить себя будешь голодом, этим горю не пособишь.

Петру Михайлычу показалось нелепым, что тетка вмешивается в чужие дела и свой отъезд ставит в зависимость от того, что ушла Зина. Он хотел сказать ей дерзость, но сдержал себя. И, сдерживая себя, он почувствовал, что настала подходящая пора, чтобы действовать, и что терпеть долее нет сил. Или действовать сейчас же, или же упасть на пол, кричать и биться головой о пол. Он вообразил Власича и Зину, как они оба, либеральные и довольные собой, целуются теперь где-нибудь под кленом, и всё тяжелое и злобное, что скопилось в нем в течение семи дней, навалилось на Власича.

«Один обольстил и украл сестру, – подумал он, – другой придет и зарежет мать, третий подожжет дом или ограбит... И всё это под личиной дружбы, высоких идей, страданий!»

– Нет, этого не будет! – вдруг крикнул Петр Михайлыч и ударил кулаком по столу.

Он вскочил и выбежал из столовой. В конюшне стояла оседланная лошадь управляющего. Он сел на нее и поскакал к Власичу.

В душе у него происходила целая буря. Он чувствовал потребность сделать что-нибудь из ряда вон выходящее, резкое, хотя бы потом пришлось каяться всю жизнь. Назвать Власича

подлецом, дать ему пощечину и потом вызвать на дуэль? Но Власич не из тех, которые дерутся на дуэли; от подлеца же и пощечины он станет только несчастнее и глубже уйдет в самого себя. Эти несчастные, безответные люди – самые несносные, самые тяжелые люди. Им всё проходит безнаказанно. Когда несчастный человек, в ответ на заслуженный упрек, взглянет своими глубокими виноватыми глазами, болезненно улыбнется и покорно подставит голову, то, кажется, у самой справедливости не хватит духа поднять на него руку.

«Всё равно. Я при ней ударю его хлыстом и наговорю ему дерзостей», – решил Петр Михайлыч.

Он ехал своим лесом и пустырями и воображал, как Зина, чтобы оправдать свой поступок, будет говорить о правах женщины, о свободе личности и о том, что между церковным и гражданским браком нет никакой разницы. Она по-женски будет спорить о том, чего не понимает. И, вероятно, в конце концов она спросит: «Причем ты тут? Какое ты имеешь право вмешиваться?»

– Да, я не имею права, – пробормотал Петр Михайлыч. – Но тем лучше... Чем грубее, чем меньше права, тем лучше.

Было душно. Низко над землей стояли тучи комаров, и в пустырях жалобно плакали чибисы. Всё предвещало дождь, но не было ни одного облачка. Петр Михайлыч переехал свою межу и поскакал по ровному, гладкому полю. Он часто ездил по этой дороге и знал на ней каждый кустик, каждую ямку. То, что далеко впереди теперь, в сумерках, представлялось темным утесом, была красная церковь; он мог вообразить ее себе всю до мелочей, даже штукатурку на воротах и телят, которые всегда паслись в ограде. В версте от церкви направо темнеет роща, это графа Колтовича. А за рощей начинается уже земля Власича.

Из-за церкви и графской рощи надвигалась громадная черная туча, и на ней вспыхивали бледные молнии.

«Вот оно что! – подумал Петр Михайлыч. – Помоги, господи, помоги».

Лошадь от быстрой езды скоро устала, и сам Петр Михайлыч устал. Грозовая туча сердито смотрела на него и как будто советовала вернуться домой. Стало немножко жутко.

«Я им докажу, что они не правы! – подбодрял он себя. – Они будут говорить, что это свободная любовь, свобода личности; но ведь свобода – в воздержании, а не в подчинении страстям. У них разврат, а не свобода!»

Вот большой графский пруд; от тучи он посинел и нахмурился; повеяло от него сыростью и тиной. Около гати две ивы, старая и молодая, нежно прислонились друг к другу. На этом самом месте недели две назад Петр Михайлыч и Власич шли пешком и пели вполголоса студенческую песню: «Не любить – погубить значит жизнь молодую...» Жалкая песня!

Когда Петр Михайлыч ехал через рощу, гремел гром, и деревья шумели и гнулись от ветра. Надо было торопиться. От рощи до усадьбы Власича оставалось еще проехать лугом не более версты. Тут по обе стороны дороги стояли старые березы. Они были так же печальны и несчастны на вид, как их хозяин Власич, так же были тощи и высоко вытянулись, как он. В березах и в траве зашуршал крупный дождь; ветер тотчас же стих и запахло мокрой землей и тополем. Вон показалась изгородь Власича с желтой акацией, которая тоже тоща и вытянулась; там, где решетка обвалилась, виден запущенный фруктовый сад.

Петр Михайлыч не думал уже ни о пощечине, ни о хлысте, и не знал, что будет он делать у Власича. Он струсил. Ему было страшно за себя и за сестру, и было жутко, что он ее сейчас увидит. Как она будет держать себя с братом? О чем они оба будут говорить? И не вернуться ли назад, пока не поздно? Думая так, он по липовой аллее поскакал к дому, обогнул широкие кусты сирени и вдруг увидел Власича.

Власич, без шляпы, в ситцевой рубахе и высоких сапогах, согнувшись под дождем, шел от угла дома к крыльцу; за ним работник нес молоток и ящик с гвоздями. Должно быть, починяли ставню, которая хлопала от ветра. Увидев Петра Михайлыча, Власич остановился.

– Это ты? – сказал он и улыбнулся. – Ну, вот и хорошо.

– Да, приехал, как видишь... – тихо проговорил Петр Михайлыч, стряхивая с себя дождь обеими руками.

– Ну, вот и ладно. Очень рад, – сказал Власич, но руки не подал: очевидно, не решался и ждал, когда ему подадут. – Для овсов хорошо! – сказал он и поглядел на небо.

– Да.

Молча вошли в дом. Направо из передней вела дверь в другую переднюю и потом в залу, а налево – в маленькую комнату, где зимою жил приказчик. Петр Михайлыч и Власич вошли в эту комнату.

– Тебя где дождь захватил? – спросил Власич.

– Недалеко. Почти около дома.

Петр Михайлыч сел на кровать. Он был рад, что шумел дождь и что в комнате было темно. Этак лучше: не так жутко и не нужно собеседнику в лицо смотреть. Злобы у него уже не было, а были страх и досада на себя. Он чувствовал, что дурно начал и что из этой его поездки не выйдет никакого толку.

Оба некоторое время молчали и делали вид, что прислушиваются к дождю.

– Спасибо, Петруша, – начал Власич, кашлянув, – Я очень благодарен тебе, что ты приехал. Это великодушно и благородно с твоей стороны. Я это понимаю и, верь мне, ценю высоко. Верь мне.

Он поглядел в окно и продолжал, стоя среди комнатки:

– Всё произошло как-то тайно, точно мы скрывались от тебя. Сознание, что ты, быть может, оскорблен нами и сердисься, все эти дни лежало пятном на нашем счастье. Но позволь оправдаться. Действовали мы тайно не потому, что тебе мало доверяли. Во-первых, всё произошло внезапно, по какому-то вдохновению, и рассуждать было некогда. Во-вторых, это дело интимное, щекотливое... было неловко вмешивать третье лицо, хотя бы даже такое близкое, как ты. Главное же, во всем этом мы сильно рассчитывали на твоё великодушие. Ты великодушнейший, благороднейший человек. Я тебе бесконечно благодарен. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми её.

Власич говорил тихим, глухим басом, всё в одну ноту, будто гудел; он, видимо, волновался. Петр Михайлыч почувствовал, что наступила его очередь говорить и что слушать и молчать значило бы для него в самом деле разыгрывать из себя великодушнейшего и благороднейшего простака, а он не за этим сюда приехал. Он быстро поднялся и сказал вполголоса, задыхаясь:

– Послушай, Григорий, ты знаешь, я любил тебя и лучшего мужа для своей сестры не желал; но то, что произошло, ужасно! Страшно подумать!

– Почему же страшно? – спросил Власич дрогнувшим голосом. – Было бы страшно, если бы мы дурно поступили, но ведь этого нет!

– Послушай, Григорий, ты знаешь, я без предрассудков; но, извини за откровенность, по моему мнению, вы оба поступили эгоистически. Конечно, я этого не скажу Зине, это её огорчит, но ты должен знать: мать страдает до такой степени, что описать трудно.

– Да, это грустно, – вздохнул Власич. – Мы это предвидели, Петруша, но что же мы должны были делать? Если твой поступок огорчает кого-нибудь, то это еще не значит, что он дурен. Что делать! Всякий твой серьезный шаг неминуемо должен огорчить кого-нибудь. Если бы ты пошел сражаться за свободу, то это тоже заставило бы твою мать страдать. Что делать! Кто выше всего ставит покой своих близких, тот должен совершенно отказаться от идейной жизни.

За окном ярко сверкнула молния, и этот блеск как будто изменил течение мыслей у Власича. Он сел рядом с Петром Михайлычем и заговорил совсем не то, что нужно.

– Я, Петруша, благоговею перед твоею сестрой, – сказал он. – Когда я ездил к тебе, то всякий раз у меня бывало такое чувство, как будто я шел на богомолье, и я в самом деле молился на Зину. Теперь мое благоговение растет с каждым днем. Она для меня выше, чем жена! Выше! (Власич взмахнул руками.) Она моя святыня. С тех пор, как она живет у меня, я вхожу в свой дом как в храм. Это редкая, необыкновенная, благороднейшая женщина!

«Ну, завел свою шарманку!» – подумал Петр Михайлыч; слово «женщина» ему не понравилось.

– Отчего бы вам не жениться по-настоящему? – спросил он. – Сколько твоя жена хочет за развод?

– Семьдесят пять тысяч.

– Многовато. А если поторговаться?

– Не уступит ни копейки. Это, брат, ужасная женщина! – вздохнул Власич. – Я тебе раньше о ней никогда не говорил, было противно вспоминать, но вот пришлось к случаю, упоминаю. Женился я на ней под влиянием хорошей, честной минуты. В нашем полку, если хочешь подробностей, один батальонный командир сошелся с восемнадцатилетнею девицей, то есть, попросту, обольстил ее, пожил с ней месяца два и бросил. Очутилась она, брат, в ужаснейшем положении. К родителям возвращаться совестно, да и не примут, любовник бросил, – хоть иди в казармы и продавай себя. Товарищи по полку были возмущены. Сами тоже они не святые, но подлость уж очень глаза резала. Батальонного, к тому же, в полку все терпеть не могли. И, чтобы подложить ему свинью, понимаешь ли, стали все негодующие прапорщички и подпоручички собирать деньги по подписке в пользу несчастной девицы. Ну, вот, когда мы, младшие обер-офицеры, собрались на совещание и когда стали выкладывать кто пять, кто десять рублей, у меня вдруг загорелась голова. Обстановка показалась мне слишком подходящею для подвига. Я поспешил к девице и в горячих выражениях высказал ей свое сочувствие. И пока я шел к ней и потом говорил, я горячо любил ее, как униженную и оскорбленную. Да... Ну, вышло так, что через неделю после этого я сделал ей предложение. Начальство и товарищи нашли брак мой несовместимым с достоинством офицера. Это меня еще пуще воспламенило. Я, понимаешь ли, написал длинное письмо, в котором доказал, что мой поступок должен быть записан в истории полка золотыми буквами и прочее. Письмо послал командиру, а копии товарищам. Ну, конечно, был возбужден и не обошлось без резкостей. Меня попросили оставить полк. Где-то у меня спрятан черновик, я тебе дам прочесть как-нибудь. Написано с большим чувством. Ты увидишь, какие я переживал честные, светлые минуты. Подал я в отставку и приехал с женой сюда. После отца остались кое-какие долгишки, денег у меня не было, а жена с первого же дня завела знакомства, стала щеголять и играть в карты, и я вынужден был заложить имение. Вела она, понимаешь ли, нехорошую жизнь, и из всех моих соседей только один ты не был ее любовником. Года через два дал я ей отступного, всё, что у меня было тогда, и она уехала в город. Да... И теперь я выплачиваю ей по тысяче двести ежегодно. Ужасная женщина! Есть, брат, муха, которая кладет личинку на спину паука таким образом, что тот никак не может сбросить ее; личинка прирастает к пауку и пьет из его сердца кровь. Точно так же вот приросла ко мне и пьет из моего сердца кровь эта женщина. Она ненавидит и презирает меня за то, что я сделал глупость, то есть женился на такой женщине, как она. Мое великодушие кажется ей жалким. «Умный человек, говорит, бросил меня, а дурак подобрал». По ее мнению, только жалкий идиот мог поступить так, как я. И мне, брат, это невыносимо горько. Вообще, брат, скажу в скобках, гнет меня судьба. В дугу гнет.

Петр Михайлыч слушал Власича и в недоумении спрашивал себя: чем этот человек мог так понравиться Зине? Немолодой, – ему уже 41 год, – тощий, сухопарый, узкогрудый, с длинным носом, с проседью в бороде. Говорит он – точно гудёт, улыбается болезненно и, разговаривая, некрасиво взмахивает руками. Ни здоровья, ни красивых мужественных манер, ни светскости, ни веселости, а так, с внешней стороны, что-то тусклое и неопределенное. Одева-

ется он безвкусно, обстановка у него унылая, поэзии и живописи он не признает, потому что они «не отвечают на запросы дня», то есть он не понимает их; музыка его не трогает. Хозяин он плохой. Имение у него приведено в полное расстройство и заложено; по второй закладной он платит двенадцать процентов и, кроме того, по векселям еще должен тысяч десять. Когда приходит время платить проценты или высылать жене деньги, он просит у всех займы с таким выражением, как будто у него дома пожар, и в это время, очертя голову, продает он весь свой зимний запас хвороста за пять рублей, скирду соломы за три рубля и потом велит топить свои печи садовой решеткой или старыми парниковыми рамами. Луга у него потравлены свиньями, в лесу по молодняку ходит мужицкий скот, а старых деревьев с каждой зимой становится всё меньше и меньше; в огороде и в саду валяются пасечные колодки и ржавые ведра. У него нет ни талантов, ни дарований и нет даже обыкновенной способности жить, как люди живут. В практической жизни это наивный, слабый человек, которого легко обмануть и обидеть, и мужики недаром называют его «простоватым».

Он либерал и считается в уезде красным, но и это выходит у него скучно. В его вольнодумстве нет оригинальности и пафоса; возмущается, негодует и радуется он как-то всё в одну ноту, не эффектно и вяло. Даже в минуты сильного воодушевления он не поднимает головы и остается сутулым. Но скучнее всего, что даже свои хорошие, честные идеи он умудряется выражать так, что они кажутся у него банальными и отсталыми. Вспоминается что-то старое, давно читанное, когда он медленно, с глубокомысленным видом, начинает толковать про честные, светлые минуты, про лучшие годы, или когда восторгается молодежью, которая всегда шла и идет впереди общества, или порицает русских людей за то, что они в тридцать лет надевают халат и забывают заветы своей *almae matris*¹. Когда остаешься у него ночевать, то он кладет на ночной столик Писарева или Дарвина. Если скажешь, что я это уже читал, то он выйдет и принесет Добролюбова.

Это называлось в уезде вольнодумством, и многие смотрели на это вольнодумство как на невинное и безобидное чудачество; но оно, однако, сделало его глубоко несчастным. Оно было для него тою личинкой, о которой он только что говорил: крепко приросло к нему и пило из его сердца кровь. В прошлом странный брак во вкусе Достоевского, длинные письма и копии, писанные плохим, неразборчивым почерком, но с большим чувством, бесконечные недоразумения, объяснения, разочарования, потом долги, вторая закладная, жалованье жене, ежемесячные займы – и всё это никому не в пользу, ни себе, ни людям. И в настоящем, как прежде, всё он топорщится, ищет подвига и суется в чужие дела; по-прежнему, при всяком удобном случае, длинные письма и копии, утомительные, шаблонные разговоры об общине или о поднятии кустарной промышленности, или об учреждении сыроварен, – разговоры, похожие один на другой, точно он приготовляет их не в живом мозгу, а машинным способом. И наконец этот скандал с Зиной, который неизвестно чем еще кончится!

А между тем сестра Зина молода, – ей только 22 года, – хороша собой, изящна, весела; она хохотушка, болтунья, спорщица, страстная музыкантша; она знает толк в нарядах, в книгах и в хорошей обстановке, и у себя дома не потерпела бы такой комнатки, как эта, где пахнет сапогами и дешевою водкой. Она тоже либералка, но в ее вольнодумстве чувствуются избыток сил, тщеславие молодой, сильной, смелой девушки, страстная жажда быть лучше и оригинальнее других... Как же могло случиться, что она полюбила Власича?

«Он – Дон-Кихот, упрямый фанатик, маньяк, – думал Петр Михайлыч, – а она такая же рыхлая, слабохарактерная и покладистая, как я... Мы с ней сдаемся скоро и без сопротивления. Она полюбила его; но разве я сам не люблю его, несмотря ни на что...»

Петр Михайлыч считал Власича хорошим, честным, но узким и односторонним человеком. В его волнениях и страданиях, да и во всей его жизни, он не видел ни ближайших, ни

¹ матери-кормилицы, здесь: университета (*лат.*).

отдаленных высших целей, а видел только скуку и неуменье жить. Его самоотвержение и всё то, что Власич называл подвигом или честным порывом, представлялись ему бесполезной тратой сил, ненужными холостыми выстрелами, на которые шло очень много пороха. А то, что Власич фанатически верил в необыкновенную честность и непогрешимость своего мышления, казалось ему наивным и даже болезненным; и то, что Власич всю свою жизнь как-то ухитрился перепутывать ничтожное с высоким, что он глупо женился и считал это подвигом, и потом сходил с женщинами и видел в этом торжество какой-то идеи, – это было просто непонятно.

Но все-таки Петр Михайлыч любил Власича, чувствовал присутствие в нем какой-то силы, и почему-то у него никогда не хватало духа противоречить ему.

Власич подсел совсем близко, чтобы потолковать под шумок дождя, в темноте, и уже откашлялся, готовый рассказать что-нибудь длинное, вроде истории своей женитьбы; но Петру Михайлычу невыносимо было слушать; его томила мысль, что сейчас он увидит сестру.

– Да, тебе не везло в жизни, – сказал он мягко, – но, извини, мы с тобой уклонились от главного. Мы не о том говорим.

– Да, да, в самом деле. Так вот вернемся к главному, – сказал Власич и встал. – Я говорю тебе, Петруша: совесть наша чиста. Мы не венчаны, но что брак наш вполне законен – не мне доказывать и не тебе слушать. Ты так же свободно мыслишь, как я, и, слава богу, разногласия у нас на этот счет не может быть. Что же касается до нашего будущего, то оно не должно пугать тебя. Я буду работать до кровавого пота, не спать ночей, – одним словом, я напрогу все силы, чтобы Зина была счастлива. Жизнь ее будет прекрасной. Ты спросишь: сумею ли я это сделать? Сумею, брат! Когда человек думает каждую минуту всё об одном и том же, то ему не трудно добиться, чего он хочет. Но пойдем к Зине. Надо ее обрадовать.

У Петра Михайлыча забилося сердце. Он встал и пошел за Власичем в переднюю, а оттуда в залу. В этой громадной, угрюмой комнате был только фортепьян да длинный ряд старинных стульев с бронзой, на которые никто никогда не садился. На фортепьяне горела одна свеча. Из залы молча прошли в столовую. Тут тоже просторно и неуютно; посреди комнаты круглый стол из двух половинок на шести толстых ногах и только одна свеча. Часы в большом красном футляре, похожем на киот, показывали половину третьего.

Власич отворил дверь в соседнюю комнату и сказал:

– Зиночка, у нас Петруша!

Тотчас же послышались торопливые шаги, и в столовую вошла Зина, высокая, полная и очень бледная, какую Петр Михайлыч видел ее в последний раз дома, – в черной юбке и в красной кофточке с большою пряжкой на поясе. Она одною рукой обняла брата и поцеловала его в висок.

– Какая гроза! – сказала она. – Григорий ушел куда-то, и я осталась одна на весь дом.

Она не была смущена и смотрела на брата искренно и ясно, как дома; глядя на нее, и Петр Михайлыч перестал испытывать смущение.

– Но ведь ты не боишься грозы, – сказал он, садясь за стол.

– Да, но здесь огромные комнаты, дом старый и весь звенит от грома, как шкаф с посудой. Вообще, миленький домик, – продолжала она, садясь против брата. – Тут что ни комната, то какое-нибудь приятное воспоминание. В моей комнате, можешь себе представить, застрелился дедушка Григория.

– В августе будут деньги, ремонтирую флигель в саду, – сказал Власич.

– Почему-то во время грозы вспоминается дедушка, – продолжала Зина. – А в этой столовой засекали насмерть какого-то человека.

– Это действительно факт, – подтвердил Власич и посмотрел большими глазами на Петра Михайлыча. – В сороковых годах это имение арендовал некий Оливьер, француз. Портрет его дочери валяется у нас теперь на чердаке. Очень хорошенькая. Этот Оливьер, как рассказывал мне отец, презирал русских за невежество и глумился над ними жестоко. Так,

он требовал, чтобы священник, проходя мимо усадьбы, снимал шапку за полверсты, и когда семейство Оливьеров проезжало через деревню, то чтоб звонили в церкви. С крепостными и вообще с малыми мира сего он, конечно, церемонился еще меньше. Как-то проходил здесь по дороге один из благодушнейших сынов бродячей Руси, что-то вроде гоголевского бурсака Хомы Брута. Попросился он ночевать, понравился тут приказчикам, и его оставили при конторе. Существует много вариаций. Одни говорят, что бурсак волновал крестьян, другие же – будто его полюбила дочь Оливьера. Не знаю, что верно, но только в один прекрасный вечер позвал его сюда Оливьер и сделал ему допрос, потом же приказал его бить. Понимаешь ли, сам сидит за этим столом и бордо пьет, а конюхи бьют бурсака. Должно бить, пытал. К утру бурсак умер от истязаний, и труп его спрятали куда-то. Говорят, что в пруд Колтовича бросили. Подняли дело, но француз заплатил кому следует несколько тысяч и уехал в Эльзас. Кстати же подошел срок аренды, тем дело и кончилось.

– Какие негодяи! – проговорила Зина и вздрогнула.

– Мой отец хорошо помнил и Оливьера, и его дочь. Говорил, что красавица была замечательная и притом эксцентричная. Я думаю, что бурсак всё вместе: и крестьян волновал, и дочь увлек. Может быть, даже это был вовсе не бурсак, а инкогнито какой-нибудь.

Зина задумалась: история бурсака и красивой француженки, по-видимому, унесла ее воображение далеко. Как казалось Петру Михайлычу, она наружно нисколько не изменилась в последнюю неделю, только стала немножко бледнее. Она глядела покойно и обыкновенно, как будто вместе с братом приехала к Власичу в гости. Но Петр Михайлыч чувствовал, что произошла какая-то перемена в нем самом. В самом деле, прежде, когда она жила дома, он мог говорить с нею решительно обо всем, теперь же он был не в силах задать даже простого вопроса: «Как тебе живется здесь?» Этот вопрос казался неловким и ненужным. Должно быть, такая же перемена произошла и в ней. Она не спешила заводить разговор о матери, о доме, о своем романе с Власичем; она не оправдывалась, не говорила, что гражданский брак лучше церковного, не волновалась и покойно задумалась над историей Оливьера... И почему вдруг заговорили об Оливьере?

– У вас у обоих плечи мокрые от дождя, – сказала Зина и радостно улыбнулась; она была тронута этим маленьким сходством между братом и Власичем.

И Петр Михайлыч почувствовал всю горечь и весь ужас своего положения. Он вспомнил свой опустевший дом, закрытый рояль и Зинину светленькую комнату, в которую теперь уже никто не входит; он вспомнил, что на аллеях в саду уже нет следов от маленьких ног и что перед вечерним чаем уже никто с громким смехом не уходит купаться. То, к чему он больше и больше привязывался с самого раннего детства, о чем любил думать, когда сидел, бывало, в душном классе или в аудитории, – ясность, чистота, радость, всё, что наполняло дом жизнью и светом, ушло безвозвратно, исчезло и смешалось с грубою, неуклюжею историей какого-то батальонного командира, великодушного прапорщика, развратной бабы, застрелившегося дедушки... И начинать разговор о матери или думать, что прошлое может вернуться, значило бы не понимать того, что ясно.

Глаза у Петра Михайлыча наполнились слезами, и рука, лежавшая на столе, задрожала. Зина угадала, о чем он думал, и глаза ее тоже покраснели и заблестели.

– Григорий, поди сюда! – сказала она Власичу.

Оба отошли к окну и стали говорить о чем-то шёпотом. И по тому, как Власич нагнулся к ней и как она смотрела на него, Петр Михайлыч еще раз понял, что всё уже непоправимо кончено и что говорить ни о чем не нужно. Зина вышла.

– Так-то, брат, – заговорил Власич после некоторого молчания, потирая руки и улыбаясь. – Я давеча назвал нашу жизнь счастьем, но это подчиняясь, так сказать, литературным требованиям. В сущности же ощущения счастья еще не было. Зина всё время думала о тебе, о матери и мучилась; глядя на нее, и я мучился. Она натура свободная, смелая, но без привычки,

знаешь, тяжело, да и молода к тому же. Прислуга называет ее барышней; кажется, пустяк, но это ее волнует. Так-то, брат.

Зина принесла полную тарелку земляники. За ней вошла маленькая горничная, на вид безответная и забитая. Она поставила на стол кувшин молока и поклонилась низко-низко... В ней было что-то общее со старинной мебелью, такое же оцепенелое и скучное.

Дождя уже не было слышно. Петр Михайлыч ел землянику, а Власич и Зина смотрели на него молча. Приближалось время ненужного, но неизбежного разговора, и все трое уже чувствовали его тяжесть. У Петра Михайлыча глаза опять наполнились слезами; он отодвинул от себя тарелку и сказал, что ему пора уже ехать домой, а то будет поздно и, пожалуй, опять пойдет дождь. Настала минута, когда Зина из приличия должна была заговорить о домашних и о своей новой жизни.

– Что у нас? – спросила она быстро, и ее бледное лицо задрожало. – Что мама?

– Ты маму знаешь... – ответил Петр Михайлыч, не глядя на нее.

– Петруша, ты долго думал о том, что произошло, – проговорила она, взявши брата за рукав, и он понял, как ей тяжело говорить. – Ты долго думал; скажи мне, можно ли рассчитывать, что мама когда-нибудь примирится с Григорием... и вообще с этим положением?

Она стояла близко к брату, лицом к лицу, и он изумился, что она так красива и что раньше он точно не замечал этого; и то, что его сестра, похожая лицом на мать, изнеженная, изящная, жила у Власича и с Власичем, около оцепенелой горничной, около стола на шести ногах, в доме, где засекали живого человека, что она сейчас не поедет с ним домой, а останется тут ночевать, – это показалось ему невероятным абсурдом.

– Ты маму знаешь... – сказал он, не отвечая на вопрос. – По-моему, следовало бы соблюсти... что-нибудь сделать, попросить у нее прощения, что ли...

– Но просить прощения – значит делать вид, что мы поступили дурно. Для успокоения мамы я готова солгать, но ведь это ни к чему не поведет. Я знаю маму. Ну, что будет, то будет! – сказала Зина, повеселевшая оттого, что самое неприятное было уже сказано. – Подождем пять, десять лет, потерпим, а там что бог даст.

Она взяла брата под руку и, когда проходила через темную переднюю, прижалась к его плечу.

Вышли на крыльцо. Петр Михайлыч простился, сел на лошадь и поехал шагом; Зина и Власич пошли проводить его немного. Было тихо, тепло и чудесно пахло сеном; на небе меж облаков ярко горели звезды. Старый сад Власича, видевший на своем веку столько печальных историй, спал, окутавшись в потемки, и почему-то было грустно проезжать через него.

– А мы с Зиной сегодня после обеда провели несколько воистину светлых минут! – сказал Власич. – Я прочел ей вслух превосходную статью по переселенческому вопросу. Прочти, брат! Тебе это необходимо! Статья замечательная по честности. Я не выдержал и написал в редакцию письмо для передачи автору. Написал только одну строчку: «Благодарю и крепко жму честную руку!»

Петр Михайлыч хотел сказать: «Не впутывайся ты, пожалуйста, не в свои дела!» – но промолчал.

Власич шел у правого стремена, а Зина у левого; оба как будто забыли, что нужно возвращаться домой, а было сыро и уже немного оставалось до роши Колтовича. Петр Михайлыч чувствовал, что они ждут от него чего-то, хотя сами не знают чего, и ему стало невыносимо жаль их. Теперь, когда они, с покорным видом и задумавшись, шли около лошади, он был глубоко убежден, что они несчастны и не могут быть счастливы, и их любовь казалась ему печальной, непоправимой ошибкой. От жалости и сознания, что он ничем не может помочь, им овладело то состояние душевного расслабления, когда он, чтобы избавиться от тяжелого чувства сострадания, готов бывал на всякие жертвы.

– Я к вам буду ездить ночевать, – сказал он.

Но это походило на то, как будто он делал уступку, и не удовлетворило его. Когда остановились около рощи Колтовича, чтобы проститься, он нагнулся к Зине, дотронулся до ее плеча и сказал:

– Ты, Зина, права. Ты хорошо поступила!

И, чтобы не сказать больше и не расплакаться, он ударил по лошади и поскакал в рощу. Въезжая в потёмки, он оглянулся и увидел, как Власич и Зина шли домой по дороге, – он широко шагая, а она рядом с ним торопливою подпрыгивающей походкой, – и о чем-то оживленно разговаривали.

«Я – старая баба, – подумал Петр Михайлыч. – Ехал затем, чтобы решить вопрос, но еще больше запутал его. Ну, да бог с ним!»

На душе у него было тяжело. Когда кончилась роща, он поехал шагом и потом около пруда остановил лошадь. Хотелось сидеть неподвижно и думать. Восходил месяц и красным столбом отражался на другой стороне пруда. Где-то глухо погромыхивал гром. Петр Михайлыч не мигая смотрел на воду и воображал отчаяние сестры, ее страдальческую бледность и сухие глаза, с какими она будет скрывать от людей свое унижение. Он вообразил себе ее беременность, смерть матери, ее похороны, ужас Зины... Гордая суеверная старуха кончит не иначе, как смертью. Страшные картины будущего рисовались перед ним на темной гладкой воде, и среди бледных женских фигур он видел самого себя, малодушного, слабого, с виноватым лицом...

В ста шагах на правом берегу пруда стояло неподвижно что-то темное: человек это или высокий пень? Петр Михайлыч вспомнил про бурсака, которого убили и бросили в этот пруд.

«Оливьер поступил бесчеловечно, но ведь так или иначе он решил вопрос, а я вот ничего не решил, а только напутал, – подумал он, вглядываясь в темную фигуру, похожую на привидение. – Он говорил и делал то, что думал, а я говорю и делаю не то, что думаю; да и не знаю наверное, что собственно я думаю...»

Он подъехал к темной фигуре: это был старый гниющий столб, уцелевший от какой-то постройки.

Из рощи и усадьбы Колтовича сильно потянуло ландышами и медовыми травами. Петр Михайлыч ехал по берегу пруда и печально глядел на воду и, вспоминая свою жизнь, убеждался, что до сих пор говорил он и делал не то, что думал, и люди платили ему тем же, и оттого вся жизнь представлялась ему теперь такую же темной, как эта вода, в которой отражалось ночное небо и перепутались водоросли. И казалось ему, что этого нельзя поправить.

Палата № 6

I

В больничном дворе стоит небольшой флигель, окруженный целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли. Крыша на нем ржавая, труба наполовину обвалилась, ступеньки у крыльца сгнили и поросли травой, а от штукатурки остались одни только следы. Передним фасадом обращен он к больнице, задним – глядит в поле, от которого отделяет его серый больничный забор с гвоздями. Эти гвозди, обращенные остриями кверху, и забор, и самый флигель имеют тот особый унылый, окаянный вид, какой у нас бывает только у больничных и тюремных построек.

Если вы не боитесь ожечья о крапиву, то пойдите по узкой тропинке, ведущей к флигелю, и посмотрим, что делается внутри. Отворив первую дверь, мы входим в сени. Здесь у стен и около печки навалены целые горы больничного хлама. Матрацы, старые изодранные халаты, панталоны, рубахи с синими полосками, никуда негодная, истасканная обувь, – вся эта рвань свалена в кучи, перемята, спуталась, гниет и издает удушливый запах.

На хламе всегда с трубкой в зубах лежит сторож Никита, старый отставной солдат с порыжелыми нашивками. У него суровое, испитое лицо, нависшие брови, придающие лицу выражение степной овчарки, и красный нос; он невысок ростом, на вид сухощав и жилист, но осанка у него внушительная и кулаки здоровенные. Принадлежит он к числу тех простодушных, положительных, исполнительных и тупых людей, которые больше всего на свете любят порядок и потому убеждены, что их надо бить. Он бьет по лицу, по груди, по спине, по чем попало, и уверен, что без этого не было бы здесь порядка.

Далее вы входите в большую, просторную комнату, занимающую весь флигель, если не считать сеней.

Стены здесь вымазаны грязно-голубою краской, потолок закопчен, как в курной избе, – ясно, что здесь зимой дымят печи и бывает угарно. Окна изнутри обезображены железными решетками. Пол сер и занозист. Воняет кислую капустой, фитильною гарью, клопами и аммиаком, и эта вонь в первую минуту производит на вас такое впечатление, как будто вы входите в зверинец.

В комнате стоят кровати, привинченные к полу. На них сидят и лежат люди в синих больничных халатах и по-старинному в колпаках. Это – сумасшедшие.

Всех их здесь пять человек. Только один благородного звания, остальные же все мещане. Первый от двери, высокий, худощавый мещанин с рыжими, блестящими усами и с заплаканными глазами, сидит, подперев голову, и глядит в одну точку. День и ночь он грустит, покачивая головой, вздыхая и горько улыбаясь; в разговорах он редко принимает участие и на вопросы обыкновенно не отвечает. Ест и пьет он машинально, когда дают. Судя по мучительному, бьющему кашлю, худобе и румянцу на щеках, у него начинается чахотка.

За ним следует маленький, живой, очень подвижной старик с острою бородкой и с черными, кудрявыми, как у негра, волосами. Днем он прогуливается по палате от окна к окну или сидит на своей постели, поджав по-турецки ноги, и неугомонно, как снегирь, насвистывает, тихо поет и хихикает. Детскую веселость и живой характер проявляет он и ночью, когда встает за тем, чтобы помолиться богу, то есть постучать себя кулаками по груди и поковырять пальцем в дверях. Это жид Мойсейка, дурачок, помешавшийся лет двадцать назад, когда у него сгорела шапочная мастерская.

Из всех обитателей палаты № 6 только ему одному позволяется выходить из флигеля и даже из больничного двора на улицу. Такой привилегией он пользуется издавна, вероятно, как

больничный старожил и как тихий, безвредный дурачок, городской шут, которого давно уже привыкли видеть на улицах, окруженным мальчишками и собаками. В халатишке, в смешном колпаке и в туфлях, иногда босиком и даже без панталон, он ходит по улицам, останавливаясь у ворот и лавочек, и просит копеечку. В одном месте дадут ему квасу, в другом – хлеба, в третьем – копеечку, так что возвращается он во флигель обыкновенно сытым и богатым. Всё, что он приносит с собой, отбирает у него Никита в свою пользу. Делает это солдат грубо, с сердцем, выворачивая карманы и призывая бога в свидетели, что он никогда уже больше не станет пускать жида на улицу и что беспорядки для него хуже всего на свете.

Мойсейка любит услуживать. Он подает товарищам воду, укрывает их, когда они спят, обещает каждому принести с улицы по копеечке и сшить по новой шапке; он же кормит с ложки своего соседа с левой стороны, паралитика. Поступает он так не из сострадания и не из каких-либо соображений гуманного свойства, а подражая и невольно подчиняясь своему соседу с правой стороны, Громову.

Иван Дмитрич Громов, мужчина лет тридцати трех, из благородных, бывший судебный пристав и губернский секретарь, страдает манией преследования. Он или лежит на постели, свернувшись калачиком, или же ходит из угла в угол, как бы для моциона, сидит же очень редко. Он всегда возбужден, взволнован и напряжен каким-то смутным, неопределенным ожиданием. Достаточно малейшего шороха в сенях или крика на дворе, чтобы он поднял голову и стал прислушиваться: не за ним ли это идут? Не его ли ищут? И лицо его при этом выражает крайнее беспокойство и отвращение.

Мне нравится его широкое, скуластое лицо, всегда бледное и несчастное, отражающее в себе, как в зеркале, замученную борьбой и продолжительным страхом душу. Grimасы его странны и болезненны, но тонкие черты, положенные на его лицо глубоким искренним страданием, разумны и интеллигентны, и в глазах теплый, здоровый блеск. Нравится мне он сам, вежливый, услужливый и необыкновенно деликатный в обращении со всеми, кроме Никиты. Когда кто-нибудь роняет пуговку или ложку, он быстро вскакивает с постели и поднимает. Каждое утро он поздравляет своих товарищей с добрым утром, ложась спать – желает им спокойной ночи.

Кроме постоянно напряженного состояния и гримасничанья, сумасшествие его выражается еще в следующем. Иногда по вечерам он запахивается в свой халатик и, дрожа всем телом, стуча зубами, начинает быстро ходить из угла в угол и между кроватей. Похоже на то, как будто у него сильная лихорадка. По тому, как он внезапно останавливается и взглядывает на товарищей, видно, что ему хочется сказать что-то очень важное, но, по-видимому, соображая, что его не будут слушать или не поймут, он нетерпеливо встряхивает головой и продолжает шагать. Но скоро желание говорить берет верх над всякими соображениями, и он дает себе волю и говорит горячо и страстно. Речь его беспорядочна, лихорадочна, как бред, порывиста и не всегда понятна, но зато в ней слышится, и в словах, и в голосе, что-то чрезвычайно хорошее. Когда он говорит, вы узнаете в нем сумасшедшего и человека. Трудно передать на бумаге его безумную речь. Говорит он о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле, об оконных решетках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насильников. Получается беспорядочное, нескладное поупурри из старых, но еще недопетых песен.

II

Лет 12–15 тому назад, в городе, на самой главной улице, в собственном доме проживал чиновник Громов, человек солидный и зажиточный. У него было два сына: Сергей и Иван. Будучи уже студентом четвертого курса, Сергей заболел скоротечной чахоткой и умер, и эта смерть как бы послужила началом целого ряда несчастий, которые вдруг посыпались на семью Громовых. Через неделю после похорон Сергея старик-отец был отдан под суд за подлоги и растраты и вскоре умер в тюремной больнице от тифа. Дом и вся движимость были проданы с молотка, и Иван Дмитрич с матерью остались без всяких средств.

Прежде, при отце, Иван Дмитрич, проживая в Петербурге, где он учился в университете, получал 60–70 рублей в месяц и не имел никакого понятия о нужде, теперь же ему пришлось резко изменить свою жизнь. Он должен был от утра до ночи давать грошовые уроки, заниматься перепиской и все-таки голодать, так как весь заработок посылался матери на пропитание. Такой жизни не выдержал Иван Дмитрич; он пал духом, захирел и, бросив университет, уехал домой. Здесь, в городке, он по протекции получил место учителя в уездном училище, но не сошелся с товарищами, не понравился ученикам и скоро бросил место. Умерла мать. Он с полгода ходил без места, питаясь только хлебом и водой, затем поступил в судебные пристава. Эту должность занимал он до тех пор, пока не был уволен по болезни.

Он никогда, даже в молодые студенческие годы, не производил впечатления здорового. Всегда он был бледен, худ, подвержен простуде, мало ел, дурно спал. От одной рюмки вина у него кружилась голова и делалась истерика. Его всегда тянуло к людям, но, благодаря своему раздражительному характеру и мнительности, он ни с кем близко не сходил и друзей не имел. О горожанам он всегда отзывался с презрением, говоря, что их грубое невежество и сонная животная жизнь кажутся ему мерзкими и отвратительными. Говорил он тенором, громко, горячо и не иначе как негодуя и возмущаясь или с восторгом и удивлением, и всегда искренно. О чем, бывало, ни заговоришь с ним, он всё сводит к одному: в городе душно и скучно жить, у общества нет высших интересов, оно ведет тусклую, бессмысленную жизнь, разнообразия ее насилиям, грубым развратом и лицемерием; подлецы сыты и одеты, а честные питаются крохами; нужны школы, местная газета с честным направлением, театр, публичные чтения, сплоченность интеллигентных сил; нужно, чтоб общество создало себя и ужаснулось. В своих суждениях о людях он клал густые краски, только белую и черную, не признавая никаких оттенков; человечество делилось у него на честных и подлецов; середины же не было. О женщинах и любви он всегда говорил страстно, с восторгом, но ни разу не был влюблен.

В городе, несмотря на резкость его суждений и нервность, его любили и за глаза ласково называли Ваней. Его врожденная деликатность, услужливость, порядочность, нравственная чистота и его поношенный сюртучок, болезненный вид и семейные несчастья внушали хорошее, теплое и грустное чувство; к тому же, он был хорошо образован и начитан, знал, по мнению горожан, всё и был в городе чем-то вроде ходячего справочного словаря.

Читал он очень много. Бывало, всё сидит в клубе, нервно тербит бородку и перелистывает журналы и книги; и по лицу его видно, что он не читает, а глотает, едва успев разжевать. Надо думать, что чтение было одною из его болезненных привычек, так как он с одинаковою жадностью набрасывался на всё, что попадало ему под руки, даже на прошлогодние газеты и календари. Дома у себя читал он всегда лежа.

III

Однажды осенним утром, подняв воротник своего пальто и шлепая по грязи, по переулкам и задворкам пробирался Иван Дмитрич к какому-то мещанину, чтобы получить по исполнительному листу. Настроение у него было мрачное, как всегда по утрам. В одном из переулков встретились ему два арестанта в кандалах и с ними четыре конвойных с ружьями. Раньше Иван Дмитрич очень часто встречал арестантов и всякий раз они возбуждали в нем чувства сострадания и неловкости, теперь же эта встреча произвела на него какое-то особенное, странное впечатление. Ему вдруг почему-то показалось, что его тоже могут заковать в кандалы и таким же образом вести по грязи в тюрьму. Побывав у мещанина и возвращаясь к себе домой, он встретил около почты знакомого полицейского надзирателя, который поздоровался и прошел с ним по улице несколько шагов, и почему-то это показалось ему подозрительным. Дома целый день у него не выходили из головы арестанты и солдаты с ружьями, и непонятная душевная тревога мешала ему читать и сосредоточиться. Вечером он не зажигал у себя огня, а ночью не спал и всё думал о том, что его могут арестовать, заковать и посадить в тюрьму. Он не знал за собой никакой вины и мог поручиться, что и в будущем никогда не убьет, не подожжет и не украдет; но разве трудно совершить преступление нечаянно, невольно, и разве не возможна клевета, наконец, судебная ошибка? Ведь недаром же вековой народный опыт учит от сумы да тюрьмы не зарекаться. А судебная ошибка при теперешнем судопроизводстве очень возможна и ничего в ней нет мудреного. Люди, имеющие служебное, деловое отношение к чужому страданию, например, судьи, полицейские, врачи, с течением времени, в силу привычки, закаляются до такой степени, что хотели бы, да не могут относиться к своим клиентам иначе как формально; с этой стороны они ничем не отличаются от мужика, который на задворках режет баранов и телят и не замечает крови. При формальном же, бездушном отношении к личности, для того, чтобы невинного человека лишит всех прав состояния и присудить к каторге, судье нужно только одно: время. Только время на соблюдение кое-каких формальностей, за которые судье платят жалованье, а затем – всё кончено. Ищи потом справедливости и защиты в этом маленьком, грязном городишке, за двести верст от железной дороги! Да и не смешно ли помышлять о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом как разумная и целесообразная необходимость и всякий акт милосердия, например, оправдательный приговор, вызывает целый взрыв неудовлетворенного, мстительного чувства?

Утром Иван Дмитрич поднялся с постели в ужасе, с холодным потом на лбу, совсем уже уверенный, что его могут арестовать каждую минуту. Если вчерашние тяжелые мысли так долго не оставляют его, – думал он, – то, значит, в них есть доля правды. Не могли же они в самом деле прийти в голову безо всякого повода.

Городовой, не спеша, прошел мимо окон: это недаром. Вот два человека остановились около дома и молчат. Почему они молчат?

И для Ивана Дмитрича наступили мучительные дни и ночи. Все проходившие мимо окон и входившие во двор казались шпионами и сыщиками. В полдень обыкновенно исправник проезжал на паре по улице; это он ехал из своего подгородного имения в полицейское правление, но Ивану Дмитричу казалось каждый раз, что он едет слишком быстро и с каким-то особенным выражением: очевидно, спешит объявить, что в городе проявился очень важный преступник. Иван Дмитрич вздрагивал при всяком звонке и стуке в ворота, томился, когда встречал у хозяйки нового человека; при встрече с полицейскими и жандармами улыбался и насвистывал, чтобы казаться равнодушным. Он не спал все ночи напролет, ожидая ареста, но громко храпел и вздыхал, как сонный, чтобы хозяйке казалось, что он спит; ведь если не спит, то, значит, его мучают угрызения совести – какая улика! Факты и здравая логика убеждали его, что все эти страхи – вздор и психопатия, что в аресте и тюрьме, если взглянуть на дело пошире,

в сущности, нет ничего страшного, – была бы совесть спокойна; но чем умнее и логичнее он рассуждал, тем сильнее и мучительнее становилась душевная тревога. Это было похоже на то, как один пустынный хотел вырубить себе местечко в девственном лесу; чем усерднее он работал топором, тем гуще и сильнее разрастался лес. Иван Дмитрич, в конце концов, видя, что это бесполезно, совсем бросил рассуждать и весь отдался отчаянию и страху.

Он стал уединяться и избегать людей. Служба и раньше была ему противна, теперь же она стала для него невыносима. Он боялся, что его как-нибудь подведут, положат ему незаметно в карман взятку и потом уличат, или он сам нечаянно сделает в казенных бумагах ошибку, равносильную подлогу, или потеряет чужие деньги. Странно, что никогда в другое время мысль его не была так гибка и изобретательна, как теперь, когда он каждый день выдумывал тысячи разнообразных поводов к тому, чтобы серьезно опасаться за свою свободу и честь. Но зато значительно ослабел интерес к внешнему миру, в частности к книгам, и стала сильно изменять память.

Весной, когда сошел снег, в овраге около кладбища нашли два полусгнившие трупа – старухи и мальчика, с признаками насильственной смерти. В городе только и разговора было, что об этих трупах и неизвестных убийцах. Иван Дмитрич, чтобы не подумали, что это он убил, ходил по улицам и улыбался, а при встрече со знакомыми бледнел, краснел и начинал уверять, что нет подлее преступления, как убийство слабых и беззащитных. Но эта ложь скоро утомила его, и, после некоторого размышления, он решил, что в его положении самое лучшее – это спрятаться в хозяйкин погреб. В погребе просидел он день, потом ночь и другой день, сильно озяб и, дождавшись потемок, тайком, как вор, пробрался к себе в комнату. До рассвета простоял он среди комнаты, не шевелясь и прислушиваясь. Рано утром до восхода солнца к хозяйке пришли печники. Иван Дмитрич хорошо знал, что они пришли затем, чтобы перекладывать в кухне печь, но страх подсказал ему, что это полицейские, переодетые печниками. Он потихоньку вышел из квартиры и, охваченный ужасом, без шапки и сюртука, побежал по улице. За ним с лаем гнались собаки, кричал где-то позади мужик, в ушах свистел воздух, и Ивану Дмитричу казалось, что насилие всего мира скопилось за его спиной и гонится за ним.

Его задержали, привели домой и послали хозяйку за доктором. Доктор Андрей Ефимыч, о котором речь впереди, прописал холодные примочки на голову и лавровишневые капли, грустно покачал головой и ушел, сказав хозяйке, что уж больше он не придет, потому что не следует мешать людям сходить с ума. Так как дома не на что было жить и лечиться, то скоро Ивана Дмитрича отправили в больницу и положили его там в палате для венерических больных. Он не спал по ночам, капризничал и беспокоил больных и скоро, по распоряжению Андрея Ефимыча, был переведен в палату № 6.

Через год в городе уже совершенно забыли про Ивана Дмитрича, и книги его, сваленные хозяйкой в сани под навесом, были растасканы мальчишками.

IV

Сосед с левой стороны у Ивана Дмитрича, как я уже сказал, жид Мойсейка, сосед же с правой – оплывший жиром, почти круглый мужик с тупым, совершенно бессмысленным лицом. Это – неподвижное, обжорливое и нечистоплотное животное, давно уже потерявшее способность мыслить и чувствовать. От него постоянно идет острый, удушливый смрад.

Никита, убиравший за ним, бьет его страшно, со всего размаха, не щадя своих кулаков; и страшно тут не то, что его бьют, – к этому можно привыкнуть, – а то, что это отупевшее животное не отвечает на побои ни звуком, ни движением, ни выражением глаз, а только слегка покачивается, как тяжелая бочка.

Пятый и последний обитатель палаты № 6 – мещанин, служивший когда-то сортировщиком на почте, маленький, худощавый блондин с добрым, но несколько лукавым лицом. Судя по умным, покойным глазам, смотрящим ясно и весело, он себе на уме и имеет какую-то очень важную и приятную тайну. У него есть под подушкой и под матрацем что-то такое, чего он никому не показывает, но не из страха, что могут отнять или украсть, а из стыдливости. Иногда он подходит к окну и, обернувшись к товарищам спиной, надевает себе что-то на грудь и смотрит, нагнув голову; если в это время подойти к нему, то он сконфузится и сорвет что-то с груди. Но тайну его угадать не трудно.

– Поздравьте меня, – говорит он часто Ивану Дмитричу, – я представлен к Станиславу второй степени со звездой. Вторую степень со звездой дают только иностранцам, но для меня почему-то хотят сделать исключение, – улыбается он, в недоумении пожимая плечами. – Вот уж, признаться, не ожидал!

– Я в этом ничего не понимаю, – угрюмо заявляет Иван Дмитрич.

– Но знаете, чего я рано или поздно добьюсь? – продолжает бывший сортировщик, лукаво щури глаза. – Я непременно получу шведскую Полярную Звезду. Орден такой, что стоит похлопотать. Белый крест и черная лента. Это очень красиво.

Вероятно, нигде в другом месте так жизнь не однообразна, как во флигеле. Утром больные, кроме паралитика и толстого мужика, умываются в сенях из большого ушата и утираются фалдами халатов; после этого пьют из оловянных кружек чай, который приносит из главного корпуса Никита. Каждому полагается по одной кружке. В полдень едят щи из кислой капусты и кашу, вечером ужинают кашей, оставшеюся от обеда. В промежутках лежат, спят, глядят в окна и ходят из угла в угол. И так каждый день. Даже бывший сортировщик говорит всё об одних и тех же орденах.

Свежих людей редко видят в палате № 6. Новых помешанных доктор давно уже не принимает, а любителей посещать сумасшедшие дома немного на этом свете. Раз в два месяца бывает во флигеле Семен Лазарич, цырюльник. Как он стрижет сумасшедших и как Никита помогает ему делать это, и в какое смятение приходят больные всякий раз при появлении пьяного улыбающегося цырюльника, мы говорить не будем.

Кроме цырюльника никто не заглядывает во флигель. Больные осуждены видеть изо дня в день одного только Никиту.

Впрочем, недавно по больничному корпусу разнесся довольно странный слух.

Распустили слух, что палату № 6 будто бы стал посещать доктор.

V

Странный слух!

Доктор Андрей Ефимыч Рагин – замечательный человек в своем роде. Говорят, что в ранней молодости он был очень набожен и готовил себя к духовной карьере, и что, кончив в 1863 году курс в гимназии, он намеревался поступить в духовную академию, но будто бы его отец, доктор медицины и хирург, едко посмеялся над ним и заявил категорически, что не будет считать его своим сыном, если он пойдет в попы. Насколько это верно – не знаю, но сам Андрей Ефимыч не раз признавался, что он никогда не чувствовал призвания к медицине и вообще к специальным наукам.

Как бы то ни было, кончив курс по медицинскому факультету, он в священники не постригся. Набожности он не проявлял и на духовную особу в начале своей врачебной карьеры походил так же мало, как теперь.

Наружность у него тяжелая, грубая, мужицкая; своим лицом, бородой, плоскими волосами и крепким, неуклюжим сложением напоминает он трактирщика на большой дороге, развешегося, невоздержного и крутого. Лицо суровое, покрыто синими жилками, глаза маленькие, нос красный. При высоком росте и широких плечах у него громадные руки и ноги; кажется, хватит кулаком – дух вон. Но поступь у него тихая и походка осторожная, вкрадчивая; при встрече в узком коридоре он всегда первый останавливается, чтобы дать дорогу, и не басом, как ждешь, а тонким, мягким тенорком говорит: «виноват!» У него на шее небольшая опухоль, которая мешает ему носить жесткие крахмальные воротнички, и потому он всегда ходит в мягкой полотняной или ситцевой сорочке. Вообще, одевается он не по-докторски. Одну и ту же пару он таскает лет по десяти, а новая одежда, которую он обыкновенно покупает в жидовской лавке, кажется на нем такую же поношенную и помятую, как старая; в одном и том же сюртуке он и больных принимает, и обедает, и в гости ходит; но это не из скупости, а от полного невнимания к своей наружности.

Когда Андрей Ефимыч приехал в город, чтобы принять должность, «богоугодное заведение» находилось в ужасном состоянии. В палатах, коридорах и в больничном дворе тяжело было дышать от смрада. Больничные мужики, сиделки и их дети спали в палатах вместе с больными. Жаловались, что житья нет от тараканов, клопов и мышей. В хирургическом отделении не переводилась рожа. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра, в ваннах держали картофель. Смотритель, кастаньянша и фельдшер грабили больных, а про старого доктора, предшественника Андрея Ефимыча, рассказывали, будто он занимался тайною продажей больничного спирта и завел себе из сиделок и больных женщин целый гарем. В городе отлично знали про эти беспорядки и даже преувеличивали их, но относились к ним спокойно; одни оправдывали их тем, что в больницу ложатся только мещане и мужики, которые не могут быть недовольны, так как дома живут гораздо хуже, чем в больнице; не рябчиками же их кормить! Другие же в оправдание говорили, что одному городу без помощи земства не под силу содержать хорошую больницу; слава богу, что хоть плохая да есть. А молодое земство не открывало лечебницы ни в городе, ни возле, ссылаясь на то, что город уже имеет свою больницу.

Осмотрев больницу, Андрей Ефимыч пришел к заключению, что это учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. По его мнению, самое умное, что можно было сделать, это – выпустить больных на волю, а больницу закрыть. Но он рассудил, что для этого недостаточно одной только его воли и что это было бы бесполезно; если физическую и нравственную нечистоту прогнать с одного места, то она перейдет на другое; надо ждать, когда она сама выветрится. К тому же, если люди открывали больницу и терпят ее у себя, то, значит, она им нужна; предрассудки и все эти житейские гадости и мерзости нужны,

так как они с течением времени перерабатываются во что-нибудь путное, как навоз в чернозем. На земле нет ничего такого хорошего, что в своем первоисточнике не имело бы гадости.

Приняв должность, Андрей Ефимыч отнесся к беспорядкам, по-видимому, довольно равнодушно. Он попросил только больничных мужиков и сиделок не ночевать в палатах и поставил два шкапа с инструментами; смотритель же, кастильянша, фельдшер и хирургическая рожа остались на своих местах.

Андрей Ефимыч чрезвычайно любит ум и честность, но чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватает характера и веры в свое право. Приказывать, запрещать и настаивать он положительно не умеет. Похоже на то, как будто он дал обет никогда не возвышать голоса и не употреблять повелительного наклонения. Сказать «дай» или «принеси» ему трудно; когда ему хочется есть, он нерешительно покашливает и говорит кухарке: «Как бы мне чаю»... или: «Как бы мне пообедать». Сказать же смотрителю, чтоб он перестал красть, или прогнать его, или совсем упразднить эту ненужную паразитную должность – для него совершенно не под силу. Когда обманывают Андрея Ефимыча или льстят ему, или подносят для подписи заведомо подлый счет, то он краснеет, как рак, и чувствует себя виноватым, но счет все-таки подписывает; когда больные жалуются ему на голод или на грубых сиделок, он конфузится и виновато бормочет:

– Хорошо, хорошо, я разберу после... Вероятно, тут недоразумение...

В первое время Андрей Ефимыч работал очень усердно. Он принимал ежедневно с утра до обеда, делал операции и даже занимался акушерской практикой. Дамы говорили про него, что он внимателен и отлично угадывает болезни, особенно детские и женские. Но с течением времени дело заметно прискучило ему своим однообразием и очевидною бесполезностью. Сегодня примешь 30 больных, а завтра, глядишь, привалило их 35, послезавтра 40, и так изо дня в день, из года в год, а смертность в городе не уменьшается, и больные не перестают ходить. Оказать серьезную помощь 40 приходящим больным от утра до обеда нет физической возможности, значит, поневоле выходит один обман. Принято в отчетном году 12 000 приходящих больных, значит, попросту рассуждая, обмануто 12 000 человек. Класть же серьезных больных в палаты и заниматься ими по правилам науки тоже нельзя, потому что правила есть, а науки нет; если же оставить философию и педантически следовать правилам, как прочие врачи, то для этого, прежде всего, нужны чистота и вентиляция, а не грязь, здоровая пища, а не щи из вонючей кислой капусты, и хорошие помощники, а не воры.

Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец каждого? Что из того, если какой-нибудь торговец или чиновник проживет лишних пять, десять лет? Если же видеть цель медицины в том, что лекарства облегчают страдания, то невольно напрашивается вопрос: зачем их облегчать? Во-первых, говорят, что страдания ведут человека к совершенству, и, во-вторых, если человечество в самом деле научится облегчать свои страдания пилюлями и каплями, то оно совершенно забросит религию и философию, в которых до сих пор находило не только защиту от всяких бед, но даже счастье. Пушкин перед смертью испытывал страшные мучения, бедняжка Гейне несколько лет лежал в параличе; почему же не поболеть какому-нибудь Андрею Ефимычу или Матрене Савишне, жизнь которых бессодержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амёбы, если бы не страдания?

Подавляемый такими рассуждениями, Андрей Ефимыч опустил руки и стал ходить в больницу не каждый день.

VI

Жизнь его проходит так. Обыкновенно он встает утром часов в восемь, одевается и пьет чай. Потом садится у себя в кабинете читать или идет в больницу. Здесь, в больнице, в узком темном коридорчике сидят амбулаторные больные, ожидающие приемки. Мимо них, стуча сапогами по кирпичному полу, бегают мужики и сиделки, проходят тощие больные в халатах, проносят мертвецов и посуду с нечистотами, плачут дети, дует сквозной ветер. Андрей Ефимыч знает, что для лихорадящих, чахоточных и вообще впечатлительных больных такая обстановка мучительна, но что поделаешь? В приемной встречает его фельдшер Сергей Сергеич, маленький, толстый человек с бритым, чисто вымытым, пухлым лицом, с мягкими плавными манерами и в новом просторном костюме, похожий больше на сенатора, чем на фельдшера. В городе он имеет громадную практику, носит белый галстук и считает себя более сведущим, чем доктор, который совсем не имеет практики. В углу, в приемной, стоит большой образ в киоте, с тяжелою лампадой, возле – ставник в белом чехле; на стенах висят портреты архиереев, вид Святогорского монастыря и венки из сухих васильков. Сергей Сергеич религиозен и любит благолепие. Образ поставлен его иждивением; по воскресеньям в приемной кто-нибудь из больных, по его приказанию, читает вслух акафист, а после чтения сам Сергей Сергеич обходит все палаты с камильницей и кадит в них ладаном.

Больных много, а времени мало, и потому дело ограничивается одним только коротким опросом и выдачей какого-нибудь лекарства, вроде летучей мази или касторки. Андрей Ефимыч сидит, подперев щеку кулаком, задумавшись, и машинально задает вопросы. Сергей Сергеич тоже сидит, потирает свои ручки и изредка вмешивается.

– Болеем и нужду терпим оттого, – говорит он, – что господу милосердному плохо молимся. Да!

Во время приемки Андрей Ефимыч не делает никаких операций; он давно уже отвык от них и вид крови его неприятно волнует. Когда ему приходится раскрывать ребенку рот, чтобы заглянуть в горло, а ребенок кричит и защищается ручонками, то от шума в ушах у него кружится голова и выступают слезы на глазах. Он торопится прописать лекарство и машет руками, чтобы баба поскорее унесла ребенка.

На приемке скоро ему прискучают робость больных и их бестолковость, близость благолепного Сергея Сергеича, портреты на стенах и свои собственные вопросы, которые он задает неизменно уже более двадцати лет. И он уходит, приняв пять-шесть больных. Остальных без него принимает фельдшер.

С приятною мыслью, что, слава богу, частной практики у него давно уже нет и что ему никто не помешает, Андрей Ефимыч, придя домой, немедленно садится в кабинете за стол и начинает читать. Читает он очень много и всегда с большим удовольствием. Половина жалованья уходит у него на покупку книг, и из шести комнат его квартиры три завалены книгами и старыми журналами. Больше всего он любит сочинения по истории и философии; по медицине же выписывает одного только «Врача», которого всегда начинает читать с конца. Чтение всякий раз продолжается без перерыва по несколько часов и его не утомляет. Читает он не так быстро и порывисто, как когда-то читал Иван Дмитрич, а медленно, с проникновением, часто останавливаясь на местах, которые ему нравятся или непонятны. Около книги всегда стоит графинчик с водкой и лежит соленый огурец или моченое яблоко прямо на сукне, без тарелки. Через каждые полчаса он, не отрывая глаз от книги, наливает себе рюмку водки и выпивает, потом, не глядя, нащупывает огурец и откусывает кусочек.

В три часа он осторожно подходит к кухонной двери, кашляет и говорит:

– Дарьюшка, как бы мне пообедать...

После обеда, довольно плохого и неопрятного, Андрей Ефимыч ходит по своим комнатам, скрестив на груди руки, и думает. Бьет четыре часа, потом пять, а он все ходит и думает. Изредка поскрипывает кухонная дверь и показывается из нее красное, заспанное лицо Дарьюшки.

– Андрей Ефимыч, вам не пора пиво пить? – спрашивает она озабоченно.

– Нет, еще не время... – отвечает он. – Я погожу... погожу...

К вечеру обыкновенно приходит почтмейстер, Михаил Аверьяныч, единственный во всем городе человек, общество которого для Андрея Ефимыча не тягостно. Михаил Аверьяныч когда-то был очень богатым помещиком и служил в кавалерии, но разорился и из нужды поступил под старость в почтовое ведомство. У него бодрый, здоровый вид, роскошные седые бакены, благовоспитанные манеры и громкий приятный голос. Он добр и чувствителен, но вспыльчив. Когда на почте кто-нибудь из посетителей протестует, не соглашается или просто начинает рассуждать, то Михаил Аверьяныч багровеет, трясется всем телом и кричит громовым голосом: «Замолчать!», так что за почтовым отделением давно уже установилась репутация учреждения, в котором страшно бывать. Михаил Аверьяныч уважает и любит Андрея Ефимыча за образованность и благородство души, к прочим же обывателям относится свысока, как к своим подчиненным.

– А вот и я! – говорит он, входя к Андрею Ефимычу. – Здравствуйте, мой дорогой! Небось я уже надоел вам, а?

– Напротив, очень рад, – отвечает ему доктор. – Я всегда рад вам.

Приятели садятся в кабинете на диван и некоторое время молча курят.

– Дарьюшка, как бы нам пива! – говорит Андрей Ефимыч.

Первую бутылку выпивают тоже молча: доктор – задумавшись, а Михаил Аверьяныч – с веселым, оживленным видом, как человек, который имеет рассказать что-то очень интересное. Разговор всегда начинает доктор.

– Как жаль, – говорит он медленно и тихо, покачивая головой и не глядя в глаза собеседнику (он никогда не смотрит в глаза), – как глубоко жаль, уважаемый Михаил Аверьяныч, что в нашем городе совершенно нет людей, которые бы умели и любили вести умную и интересную беседу. Это громадное для нас лишение. Даже интеллигенция не возвышается над пошлостью; уровень ее развития, уверяю вас, нисколько не выше, чем у низшего сословия.

– Совершенно верно. Согласен.

– Вы сами изволите знать, – продолжает доктор тихо и с расстановкой, – что на этом свете всё незначительно и неинтересно, кроме высших духовных проявлений человеческого ума. Ум проводит резкую грань между животным и человеком, намекает на божественность последнего и в некоторой степени даже заменяет ему бессмертие, которого нет. Исходя из этого, ум служит единственно возможным источником наслаждения. Мы же не видим и не слышим около себя ума, – значит, мы лишены наслаждения. Правда, у нас есть книги, но это совсем не то, что живая беседа и общение. Если позволите сделать не совсем удачное сравнение, то книги – это ноты, а беседа – пение.

– Совершенно верно.

Наступает молчание. Из кухни выходит Дарьюшка и с выражением тупой скорби, подперев кулачком лицо, останавливается в дверях, чтобы послушать.

– Эх! – вздыхает Михаил Аверьяныч. – Захотели от нынешних ума!

И он рассказывает, как жилось прежде здорово, весело и интересно, какая была в России умная интеллигенция и как высоко она ставила понятия о чести и дружбе. Давали деньги взаймы без векселя, и считалось позором не протянуть руку помощи нуждающемуся товарищу. А какие были походы, приключения, стычки, какие товарищи, какие женщины! А Кавказ – какой удивительный край! А жена одного батальонного командира, странная женщина, наде-

вала офицерское платье и уезжала по вечерам в горы, одна без проводника. Говорят, что в аулах у нее был роман с каким-то князьком.

– Царица небесная, матушка... – вздыхает Дарьюшка.

– А как пили! Как ели! А какие были отчаянные либералы!

Андрей Ефимыч слушает и не слышит; он о чем-то думает и прихлебывает пиво.

– Мне часто снятся умные люди и беседы с ними, – говорит он неожиданно, перебивая Михаила Аверьяныча. – Мой отец дал мне прекрасное образование, но под влиянием идей шестидесятых годов заставил меня сделаться врачом. Мне кажется, что если б я тогда не послушался его, то теперь я находился бы в самом центре умственного движения. Вероятно, был бы членом какого-нибудь факультета. Конечно, ум тоже не вечен и преходящ, но вы уже знаете, почему я питаю к нему склонность. Жизнь есть досадная ловушка. Когда мыслящий человек достигает возмужалости и приходит в зрелое сознание, то он невольно чувствует себя как бы в ловушке, из которой нет выхода. В самом деле, против его воли вызван он какими-то случайностями из небытия к жизни... Зачем? Хочет он узнать смысл и цель своего существования, ему не говорят или же говорят нелепости; он стучится – ему не отворяют; к нему приходит смерть – тоже против его воли. И вот, как в тюрьме, люди, связанные общим несчастьем, чувствуют себя легче, когда сходятся вместе, так и в жизни не замечаешь ловушки, когда люди, склонные к анализу и обобщениям, сходятся вместе и проводят время в обмене гордых, свободных идей. В этом смысле ум есть наслаждение незаменимое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.